

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

МИРОМОДЕЛИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2003**

УДК 808.2 + 882
ББК 81.2Р + 83.3Р
М 64

Миромоделирование в языке и тексте: Сборник научных трудов / Под ред. З.И. Резановой. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. – 208 с.

ISBN 5 – 7511 – 1743 – 3

В сборнике отражены результаты исследований языка как миромоделирующей системы. Представлена интерпретация миромоделирующего потенциала языковых и текстовых единиц, моделей, конструкций в их синхронном обнаружении и исторической динамике. Содержится разработка дериватологической и мотивологической проблематики.

Для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных специальностей.

УДК 808.2 + 882
ББК 81.2Р + 83.3Р

Рецензенты: проф. Н.Б. Лебедева, доц. В.В. Копчева

Редакционная коллегия:

д-р филол. наук, профессор **З.И. Резанова** (отв. ред.),
канд. филол. наук, доц. **Л. П. Дронова**, канд. филол. наук,
доц. **И.В. Тубалова**, канд. филол. наук, доц. **Ю.А. Эммер**,
Д.А. Катунин (отв. за выпуск)

Сборник статей издан при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (грант НШ 1736.2003.6).

ISBN 5 – 7511 – 1743 – 3

© Томский государственный университет, 2003

Предисловие

В сборнике представлены результаты исследований в рамках одного из направлений научно-исследовательской работы кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии. Авторы сборника обращаются к разным аспектам общей проблематики миромоделирующего потенциала естественного языка.

Своеобразие процессов миромоделирования в языковых единицах освещается в статьях Ю.В. Королевой, Н.Л. Новокшеновой, Д.А. Катунина и др.

Как было отмечено в работах философов-рационалистов, сам факт именования словом является свидетельством выделенности данного феномена в культуре народа. Значимым может быть как сам факт именования, вследствие чего, как отмечал Г.В. Лейбниц, «в одном языке встречаются слова, не имеющие соответствующих слов в другом языке...» [Лейбниц Г.В., 1982. С. 303], так и богатство синонимических рядов, выступающих в качестве яркого показателя так называемой «культурной разработанности» каких-либо феноменов культурной жизни. В сборнике обсуждается не только вопрос о лексической разработанности в системе русского языка тех или иных концептов, семантических сфер, но в значительно большей степени авторов интересует вопрос об особом структурировании смысла, организуемого языковой единицей того или иного типа, выявляется значимость категориально-грамматических, деривационных, лексико-семантических параметров слова в процессах языковой концептуализации действительности. В статье Ю.В. Королевой русский глагол охарактеризован как часть речи, способная в чрезвычайно скомпрессированном виде представить интерпретацию мира через ее членение на динамические фрагменты, соединяющее наряду с актуальной информацией «память о прошлом» и проекцию в будущее. Вопросы миромоделирующего потенциала единиц деривационного уровня языка так или иначе затрагиваются в ряде статей. Производное слово предстает как единица, не только свидетельст-

вующая о значимости поименованного феномена для культуры народа, но во внутренней форме фиксирует способ познания данного явления в процессе его наименования. Как было отмечено еще В. Гумбольдтом, разные имена не являются «эквивалентом чувственно воспринимаемого предмета, но пониманием его, закрепляемым в языке посредством найденного для него слова» [Гумбольдт В., 1965. С. 85]. Называя одну и ту же ягоду *смородиной* или *кислицей* (диал.), мы выделяем в этом предмете разные признаки, актуализируем их, через их посредство фиксируем целостный предмет. Исследование системы внутренних форм лексики народа дает представление о специфических путях познания явлений, предметов разных классов, присущих данной культуре. Система внутренних форм единиц предстает как обладающая значительной диагностической силой в диахронических исследованиях (Л.П. Дронова), при выявлении способов концептуализации действительности в современном русском языке в различных его функциональных вариантах (Р.Н. Порядина, Т.А. Шишкина, Ю.А. Эмер).

Выявляется специфика миромоделирующей силы метафорической номинации, предопределяемая особенностями ее семантической структуры, двоямостью смысла в системе образных отождествлений. В статьях Д.А. Катунина и Н.Л. Новокшеновой выявляется система метафорического образного представления концептов «время» и «жизнь». На страницах сборника миромоделирующий аспект метафоры анализируется не только в языковом, но и в текстовом аспекте. При этом исследовательский фокус перемещается с результативного плана ее рассмотрения к функциональной интерпретации. Интерес сосредоточивается на изучении специфических способов метафорического отражения и регулирующих механизмов метафорической интерпретации фрагментов мира в различных типах текста в комплексном текстовом миромоделировании (Н.А. Мишанкина). Яркая лингвотническая специфика метафорических номинаций, предопределяющая значительность влияний на развитие образного развития текста, создает значительные проблемы при переводе художественного текста, что и является предметом обсуждения в статье Н.И. Маругиной. В статье З.И. Резановой и М.В. Иваницкой представлен дискурсивный анализ функционирования метафоры, предполагающий выход за пределы текста как такового в сферу обуславливающей его появление коммуникативной ситуации.

Различные воплощения мотивного анализа, обусловленные значительной функциональной противопоставленностью художественного и диалектного текста, представлены в статьях М.А. Янушкевич и Е.А. Оглезневой. Функциональная обусловленность реализации моделирующей способности языковой единицы стала предметом анализа в

публикации И.В. Тубаловой, в которой исследуется формирование особых эстетических категорий в текстах сибирского фольклора.

Специальный раздел сборника посвящен памяти проф. М.Н. Яценецкой, в нем представлены статьи, в которых содержится разработка дериватологической и мотивологической проблематики.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Лейбниц Г.В.* Новые опыты о человеческом разуме // Лейбниц Г.В. Сочинения. М.: Мысль, 1982.

2. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1960.

Раздел 1

ЯЗЫК КАК МИРОМОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Л.П. Дронова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ДИАХРОНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Процесс концептуализации как классификационная деятельность направлен на выделение неких минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении (концептов) [Кубрякова Е.С., 1996. С. 93]. Концепт – центральное понятие когнитивной лингвистики – при всех вариантах истолкования рассматривается как мыслительная сущность, единица ментального пространства, определенным образом структурирующая совокупность знаний об обозначаемом и отражающая национально-культурную специфику членения мира. Поэтому концепт представляется как многослойное гетерогенное образование, в котором, помимо понятийного ядра, выделяется ценностная картина мира и ассоциативно-образное пространство. Следовательно, и воссоздаваемая таким образом языковая картина мира не будет единственной картиной мира, которая может быть реконструирована на основе данных русского языка, взятого как целое. Особыми картинами мира характеризуются различные диалекты русского языка, язык фольклора, городское просторечие и т.д., то есть языковые системы, обслуживающие разные субкультуры в пределах национальной. А.Д. Шмелев, представляя русскую языковую модель мира как объект описания, отмечает, что «иногда различия между разными языковыми картинами мира внутри одного языка оказываются больше, чем межъязыковые различия» [Шмелев А.Д., 2002. С. 298].

Значительна также вариативность и в методах / методиках описания (реконструкции / структурирования) концепта, отражающая как разные авторские стратегии разные наборы приемов описания концепта, так и оппозицию синхрония – диахрония. Это, в свою очередь, отражает существенный признак современных научных исследований – положительное отношение (толерантность) к возможной множественности решений, отношение, основанное на реальном признании сложности, многогранности определяемых объектов, на отсутствии универсальных методов и способов представления знания. Поэтому-то характерной чер-

той современной лингвистики является сосуществование методов и приемов анализа, рожденных в недрах разных научных парадигм.

Бесспорно и то, что в концепте «переплавлены» разновременные наработки культуры, то есть это «осадо́к» культурной жизни разных эпох. В этой ситуации полагаем, что глубокий комплексный диахронический (лингвокультурологический) анализ, предполагающий сопоставление данных литературного (наддиалектного) и территориально ограниченных вариантов национального языка (resp. историко-культурных ситуаций), дает возможность увидеть истоки формирования специфики мировидения как следствия возникающей культурной разнородности нации / народности, «расщепление» концептов как результат становления отличающихся систем этических и эстетических норм, оценок, выявить степень сохранности дохристианской и христианской шкалы ценностей, степень взаимодействия и восприимчивости в отношениях с иными культурами в осознании (языковом выражении) носителей традиционной (архаической, сельской) и городской культур.

Рассмотрим в таком ракурсе концепт «любовь», уже получивший описание у Ю.Д. Апресяна («Новый объяснительный словарь синонимов русского языка») и Ю.С. Степанова в его словаре русской культуры.

Глаголу *любить*, считает Ю.Д. Апресян, близки по значению в нашем сознании *пылать страстью*, *вдыхать по ком-л.*; с общим значением данного ряда синонимов существенно пересекаются аналоги – *хотеть*, *желать*, *вожделеть*, причем глаголы с наиболее общим значением – *хотеть*, *желать* – обозначают некую норму в сфере желаний. Среди противоречивых образов любви, явленных в языковых клише, пословицах и поговорках, художественной прозе и поэзии, центральным является, по мнению Ю.Д. Апресяна, образ идеальной любви. «Идеальная любовь мыслится в русском языке как исключительно сильное и глубокое чувство, во многом необъяснимое и драматическое, испытываемое однажды в жизни по отношению к единственному человеку другого пола и сопровождаемое уверенностью субъекта, что в мире нет другого человека, который любил бы его предмет с такой же силой, как любит он сам, связанное с наличием физической близости или стремлением к ней и обычно взаимное, поднятое над бытом и способное дать человеку ощущение счастья» [Апресян Ю.Д., 2000. С. 457].

Лингвокультурологический диахронический анализ («генетическое определение понятия») приводит Ю.С. Степанова к выводу, что в русском сознании концепт «любовь» вербализуется таким рядом синонимов, как *любить* / *любовь*, *люб(ый)*, *желать*, *нравиться* [Степанов Ю.С., 2001. С. 392–397]. Следуя представлению *любить* как 'испы-

тивать приязнь, доверие', *жалеть* как 'сочувствовать, беречь' (при родстве *жалеть, жалить, жало*), *нравиться* как 'приноравливаться, приспособливаться друг к другу', получаем явно иной образ любви, который, пожалуй, ближе к тому, что представлен в творчестве Ф.М. Достоевского (любить как жалеть и страдать). Таким образом, видим, что один из самых фундаментальных культурных концептов получает неоднозначное решение. Разные подходы, разная языковая база (типы текстов), иной срез культуры – разные результаты.

Посмотрим на ситуацию в аспекте, проблематизированном выше. Заявленному подходу оказывается близка и широта привлекаемых типов текстов, глубокая проработка семантики ЛГ в синхронии Ю.Д. Апресяна и степень диахроничности исследования Ю.С. Степанова. Так, Ю.С. Степанов выделяет внутреннюю форму, или этимологический признак, как один из слоев содержания концепта, существующий для пользующихся данным языком опосредованно, как основа, на которой возникли и держатся остальные слои значения [Степанов Ю.С., 2001. С. 48]. При таком подходе результаты методов сравнительно-исторического исследования, выведенные на культурологический уровень, «вписываются» в рамку когнитивных исследований. Но при этом, как представляется, «центр тяжести» в работе должен смещаться с установления собственно языковых фактов – генетических связей описываемой ЛГ – на определение границ этой изоглоссы, на интердисциплинарную оценку культурного ареала, очерченного лексической изоглоссой.

Исходя из обозначенных выше положений, объединим в семантическое поле языковые репрезентанты концепта «любовь», выделенные Ю.Д. Апресяном и Ю.С. Степановым, – *любить, жалеть, нравиться, хотеть, желать, возжелеть* (*пылать страстью, вздыхать* учитываются как показатели данного семантического пространства, но исключаются из историко-этимологического анализа как имеющие ясную внутреннюю форму и относительно поздние единицы номинации), добавив в эту ЛГ нар.-поэт. и прост. *миловать(ся) / милый*, диал. *бажать, бажанить / бажаный, жадать, жадовать / жадобный, жаданный*.

История русского глагола *любить* (слав. *l'ubiti) тянется не одну тысячу лет. Являясь формально продолжением индоевропейской основы *leubh-, этот глагол по структурной особенности оформления основы относится в праславянском к группе каузативов, не имея (не сохраняя) признаков каузативности в семантике. Существо концепта в большей степени выражает имя, чем глагол (по мнению Ю.С. Степанова): слав. *l'ubъ(jь) 'милый, приятный' представлено во всех славянских языках и как прилагательное, и как существительное, и как наречие. Полное

совпадение по форме и значению слав. *l'ubъ(jъ) представлено в германских языках (гот. *liufs* 'милый, любимый', др.-англ. *lēof* 'дорогой, дружеский, любимый, приятный' и др.). Но германские соответствия в большей степени сохраняют черты индоевропейского словообразовательного гнезда (аблаут), имеет оппозицию каузатив (др.-англ. (ge)-*liefan*, -*lyfan* 'верить, доверять; рассчитывать, ожидать', гот. *ga-laubjan*, др.-в.-нем. *gi-louben*, нем. *glauben* 'верить'; др.-англ. *lufian* 'любить, одобрять, хорошо относиться', др.-в.-нем. *lubbēn*, англ. *to love*; гот. *lubbō*, др.-в.-нем. *luba*, др.-англ. *lufu*, *lufe* 'любовь, преданность, благосклонность' и др.). И только германские продолжения и.-е. *leubh- имеют такую широкую семантическую филиацию: 'любить' как 'доверять', 'верить', 'ценить', 'дорожить', 'хвалить', 'одобрять' (ср. вышеприведенные примеры, а также гот. *liufs*, *galaufs* 'дорогой', подобное рус. *любо-дорого*, др.-англ. *lof*, др.-в.-нем. *lob* 'хвала, слава', нем. *erlauben* 'разрешать, позволять' и др.). Любопытно, что одним «крылом» германские производные совпадают по форме и значению ('любить, люб, любо') со славянскими однокорневыми образованиями (слав. *l'ubъ и герм. *leuba- < и.-е. *leubho-s), а другим – с балтийскими, где есть изолированно стоящие литов. *liaupsė* 'хвала' (ср. нем. *Lob*), *liaupsinti* 'хвалить' [Pokorny J., 1959. S. 683].

Развитие семантики, очень похожее на славянское, представлено в гнезде производных той же индоевропейской основы в итальянских языках: лат. *libens, entis* (арх. *lubens*) 'охотно (с удовольствием) делающий, веселый, радостный', *libentia*, ае f 'удовольствие, наслаждение', *libet* (*lubet*), ете (безл.) 'хочется, угодно, желательно'; *libido* (*lubid-*), *inis f* 'желание, влечение, стремление; страсть, жажда наслаждений, похоть; прихоть, каприз; произвол'; *libitus, us m* 'прихоть, каприз'; *prolubium, i n* 'желание, влечение, удовольствие'. Интересно и сходство фактов в грамматикализации в этом словообразовательном гнезде в славянских и итальянских языках (оск. *loufir* 'или' и др.-рус. *любо=либо*, ср. *кто любо, гдѣ любо* и лат. *quōlibet* 'куда угодно'), развитие общего значения 'какой угодно, всякий, любой', ср. рус. *любой* 'какой угодно (на выбор)' и лат. *quīlibet, quīlibet* 'какой угодно, любой'.

Сравнение однокорневых славянских и германских образований с итальянскими подсказывает исходное (этимологическое) значение люб- (и.-е. *leubh-) 'желать, жаждать'. Еще одно подтверждение этому видим в древнеиндийском языке, где глагол *lobháyati* означает 'возбуждать желание, заставлять любить', а *lobhāti, lúbhyati* – 'жаждать чего-л., стремиться к чему-л., заманивать; соблазнять на что-л.; любить'; *lubdhata* 'корыстолюбие, алчность', *lubdha* 'охотник' [Кочергина В.А., 1996. С. 556]. Есть родственные образования еще в некоторых индоев-

ропейских языках, но это уже изолированные образования: алб. *l'ars* 'желаю, жажду', греч. (Гесихий) *λυτά ἑταῖρα, πόρνη*, балт. литов. *liaursė* 'хвала'. Трудно что-то определенное сказать о количественной и качественной представленности родственной лексики в континентальных кельтских языках: по сохранившимся надписям известен только императив *lubi* в том же значении, что и подобная форма русского глагола [Lambert P.-Y., 1994. P. 144].

Таким образом, индоевропейская основа **leubh-* получила (? сохранила) активное развитие в четырех ветвях индоевропейской семьи (индийской, славянской, германской, итальянской) и, возможно, ещё в кельтской. Особую (частичную и, видимо, вторичную) близость в семантике демонстрируют славянские и германские (возможно, вместе с кельтскими) языки, с одной стороны, а с другой – германские и балтийские. Определяющееся при сопоставлении исходное значение позволяет увидеть в данном случае семантическую модель 'желать, хотеть' → 'любить' и, соответственно, 'желанный, любимый', 'желание' → 'любовь' (ср. давнее предположение Хирта о **leubh-* как основе, продолжившей нулевую ступень **vel-*: **vol-*: **vl-*, ср. от того же и.-е. корня рус. *воля, вельть* в значении 'хотеть' [Walde A., 1938–1954. Bd. 1. S. 793]).

Любимый человек в древнерусском языке имел обозначение и словом *хоть* 'желанная, милая жена' («Слово о полку Игореве»), 'желание' (XIII в.), 'наложница', 'любец, любовник' (XV в.). В современном русском языке ему родственны *охотный, охочий, похоть*, диал. *хоть* 'желание, похоть' (арх., иркут.), *хоча* 'прихоть' (пск., твер.) [Даль В.И., 1994. Т. 4. Ст. 1228], укр. *хить*, род. п. *хоті*, блр. *хоць* 'охота, желание' [Грінченко Б.Д., 1958–1959. Т. 4. С. 400; Носович И.И., 1870. С. 683]. В других славянских языках у родственных слов наблюдаем разброс значений от 'желание, охота, жажда' и 'жених, супруг', 'любовник, любовница' до 'вкус, приятность, удовольствие' [ЭССЯ. Вып. 8. С. 85–86].

Глагол *хотеть* 'иметь желание, охоту, ощущать потребность в чем-либо', диал. 'быть в силах, в состоянии, мочь' (моск.) известен и в других славянских языках в значении 'желать, хотеть' (болг., с.-хорв., словен., ст.-польск., укр., блр., др.-рус.). Наиболее вероятным в настоящее время считается его появление в славянских языках в результате преобразования из **xvot-*, родственного **xvatati* (<итерат.-дурат. форма *xvōt-*) [ЭССЯ, Вып. 8. С. 83–84]. Полное переосмысление **xvot-* 'хватать, брать' в **xotēti* 'хотеть' может быть объяснением несохранности исходного **xvot-* (ср. рус. диал. *охота* 'охота' и *хватать* – диал. *хвата* 'охота') [ЭССЯ. Вып. 8. С. 84, 123]. Сам глагол *хватать* – экспрессивная формально-семантическая славянская инновация, не имеющая соответствий в других (неславянских) языках. Возможно, начальная *x-* из *s-* и

*xvo-t- из *svo-, то есть 'схватить' из '*присвоить' [ЭССЯ. Вып. 8. С. 123]. В таком случае следует отметить, что генетические свойства этого глагола до сих пор прослеживаются в его семантике. Специфика значения глагола *хотеть* по сравнению с *желать* состоит в том, что *хотеть* указывает на действенность воли субъекта. Иными словами, помимо чистого желания он предполагает ещё и готовность субъекта прилагать усилия для его реализации. Готовность действовать, в свою очередь, мотивируется тем, что субъект ощущает **нужность** предмета желаний для поддержки **нормальных** условий своего существования, включая простейшие из них, такие как еда, сон и т.п. Глагол *хотеть* обозначает наиболее типичное желание – от средней до высокой степени интенсивности, не опосредованное ни эмоциями, ни умом, реалистичное (и реализуемое в обозримое время) или фантастическое [Апресян Ю.Д., 1999. С. 457]. Глагол *хотеть* в русском языке имеет неполную парадигму: плохо выразимы или даже невозможны неличные формы (кроме инфинитива), отсутствуют такие важные производные, как имя состояния (ср. *желание*) и прилагательное типа *желательный*, вследствие этого у глаголов *хотеть* и *желать*, близких по значению, отмечается тенденция к слиянию в один глагол с супплетивной грамматической и словообразовательной парадигмами, в которых все члены стилистически нейтральны [Апресян Ю.Д., 1999. С. 458].

Глагол *желать* наиболее противопоставлен *хотеть* семантически в личных формах. Во-первых, он обозначает (особенно в форме несовершенного вида) чистое желание, без намека на действенную волю. Во-вторых, *желать* отличается от *хотеть* большей индивидуализированностью, большей закреплённостью за отдельной личностью, поэтому для обозначения общих желаний больших групп людей уместнее использовать глагол *хотеть*. Кроме того, глагол *желать* может выступать стилистическим маркером, указывающим на социальное неравенство участников общения [Апресян Ю.Д., 1999. С. 458].

Обращение к истории показывает, что глагол *желать* в языке XIX в. был стилистически нейтрален и семантически очень близок к *хотеть*. То же самое можно увидеть уже в ранних текстах древнерусского языка: *желати* 'хотеть, желать, испытывать потребность', *желание* 'потребность, любовь, страсть', *желаемый* 'любимый, желанный' (XI в.), *желанникъ* 'любимец, друг' (XII в.), *желанный* 'милый, любимый' (XVI в.) [СРЯ, XI–XVII вв. Вып. 5. С. 80–81]. Но древнерусские тексты свидетельствуют не только о семантической близости *желать* и *хотеть*, но и о смешении, контаминации значений глаголов *желать* и *желеть*, *жалеть* и их производных. Так, например, др.-рус. *желати* может означать не только 'хотеть, испытывать потребность', но и 'жа-

леть о ком-л., скорбеть' (Дьяволъ же рече: «Много желаю о вась, понеже не разумѣте» (XVII в.), желѣние 'желание' и 'печаль, скорбь, горесть', желѣти 'оплакивать умершего, печалиться, сокрушаться, скорбеть' [...и желяше си о томъ зѣло. XV ~ XIII вв.], и 'желать, хотеть' [Прѣдъ двѣрьми твоими стою, руку простѣрь, желѣю бо напитѣнъ быти тобою... твою трапезѣ хощю. Изб. Св. 1076 г.], желѣтвеникъ 'любитель', а жаловати – это 'жаловаться, роптать на что-л., жалеть, беречь' и 'оказывать внимание, благоволить к кому-л., одаривать чем-л., награждать'. Ярче всего эта контаминация видна в семантической структуре слова *жалость*, означавшего и 'жалобу, печаль, грусть, сострадание' (XII ~ XIII вв.) и 'страсть, нетерпение', даже 'ревность, зависть' (XI в.). [Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Спала князю умъ *похоти*, и *жалость* ему знамение заступи, искусите Дону великаго», что на русский язык переведено как «Ум князя уступил *желанию* и *охота* отвѣдать Дон великий заслонила ему предзнаменование»]. Подобные семантические «перекрестки» сохранились до нового времени в территориальных вариантах русского языка: *хоть*, *хотѣнье*, *хотѣны*, *хощь* 'сильное, страстное желанье; похоть, плотское стремленье', *хотѣнки* 'желанье, воленье, охота' [Даль В.И., 1994. Т. 4. Ст. 1226]; *желанный* это не только 'любящий, ласковый, сердечный', но и 'жалостливый' (арх., олон., новг., волог., калуж.); *жалкий* 'жалостливый' (арх., волог., твер.), 'дорогой, милый' (арх., смол., брян., калуж., курск., дон.), *жалеть* 'любить' (повсеместно) и т.д. Более того, смешение семантики *желать* и *жалеть* отмечается и в других славянских языках: соответствия рус. *желать* имеют значения 'желать, хотеть' в украинском, старославянском, южнославянских, а в западнославянских языках у них значение 'жалеть' [Фасмер М., 1967. Т. 2. С. 40–41; Черных П.Я., 1994. Т. 1. С. 295].

Что стоит за этим смешением семантики? Предположение об энантисемии сразу отпадает, стоит только обратиться к этимологии слов *жалеть* и *желать*, к определению внутренней формы: после утраты придыхательных в праславянском произошло смешение **želēti*, **žēlati* из и.-е. **gwhel-* 'желать, хотеть' (славяно-германо-древнегреческая изоглосса) и **žalēti*, **žaliti* из и.-е. **gwel-* 'жалить, мучить' (славяно-германо-балтийская изоглосса) [Pokorny J., 1959. S. 489; Frisk Hj., 1954–1963. Bd. I. S. 447; Черных П.Я. Там же; М. Фасмер против сближения *жалить* и *желать*]. Таким образом, представленная в языке сопряженность обозначения любви и жалости, сострадания находит свое объяснение не только в характере самого чувства-состояния и, безусловно, сильном влиянии христианских этических норм (любовь земная, греховная – любовь идеальная, возвышенная и любовь как (со)страдание),

но и в собственно языковых (фонетических) процессах. Видимо, исходное соположение 'любить' – 'желать' рано было дополнено 'любить' как 'жалеть'.

Еще одно обозначение близких отношений, чувства любви как того, к чему стремятся, чего добиваются, жаждут, – *вожделеть, жаждасть*. Церковнославянизм *вожделеть* относится к ряду производных от *желать* (ср. ст.-слав. въз- и желѣти 'желать') [Фасмер М., 1964. Т. 1. С. 332]. Глагол *жаждасть* – продолжение церковнославянского наследия *жажда* при др.-рус., рус. *жажа, жадовать, жадный* – произведен от общеслав. *žędati 'жаждать, испытывать жажду' (из и.-е. *gwhedh- 'просить, желать, требовать' [Pokorny J., 1959. S. 488; Fraenkel E., 1955. S. 149–150 etc.], от которого и укр. *жадати*, блр. *жадаць*, польск. *ro-żędać* 'желать' (при совпадении *желать* и *жалеть*). В русском языке имеем диал. *жадовать* 'быть нескромным в своих желаниях, страстно и ненасытно хотеть приобрести что-л.' [Даль В.И., 1994. Т. 1. С. 468], *жадоба* 'прожорливый, имеющий непомерные желания, любимец', *жадобный* 'желанный', *жадобушка* 'милушка' и т.п.

Таким образом, видим, что образования разной исторической глубины реализуют один и тот же мотивационный признак: 'любимый' – 'тот, кого желают, жаждут, хотят' и, соответственно, 'любить' – это 'хотеть', 'желать', 'жаждать', 'жадовать'.

Продолжают ряд слов со значением 'любовь', 'любить' рефлексy общеслав. *milъ(jъ), *milęti, *milovati, *milostъ и т.п. в русском и других славянских языках (ср. др.-рус. *милость* 'милосердие, сострадание', 'особое расположение, любовь', 'подавание', ст.-чеш. *milost* 'любовь', 'милость', польск. *miłość* 'любовь'; др.-рус. *миловати* 'проявлять сострадание, сочувствие', 'испытывать любовь, расположение', *милый* 'любимый' и т.д.). По своим генетическим связям эта ЛГ входит в обширное гнездо индоевропейской лексики, где она совместно с балтийскими соответствиями образует балто-славянскую словообразовательно-семантическую инновацию (ср. литов. *mylęti* 'любить', *męile* 'любовь', *męilas* 'милый', др.-прус. *mijls* и т.д.) [ЭССЯ. Вып. 19. С. 33–47]. Подобный характер образования имеет и глагол *нравиться* (слав. *porviti sę, др.-рус. *норовить* 'помогать, угождать, стремиться делать, целить' при балт. литов. *póras* 'воля, желание', *poręti* 'хотеть'; соответствия в других индоевропейских языках имеют значения 'сила, энергия; мужчина' [Pokorny J., 1959. S. 765; ЭССЯ. Вып. 25. С. 190–195]).

Собственно славянская инновация представлена в диалектах русского языка – *бажать, бажить, бажанить* 'очень хотеть, сильно желать, любить, ласкать', *бажанный* 'милый, дорогой', *бажутка* 'желанный, милая', *баженье* 'милость, сострадание, любовь, расположение'

при укр. *бажати*, *бажати* ‘сильно желать, хотеть’, чеш. *bažiti* ‘тж’ и др. от слав. **bagati*, **bagti*, **bažati*, **bažiti* с этимологическим значением ‘жечь, печь(ся)’ > ‘горячо желать, жаждать’; ср. также совр. *печься* ‘заботиться’ [ЭССЯ. Вып. 1. С. 123, 133, 173].

Руководствуясь установкой на максимально полное описание языковой репрезентации концепта «любовь» в русском языке, мы обратили внимание на еще одного в исторической перспективе возможного участника формирования и выражения рассматриваемого концепта. На его след навела информация, полученная из других славянских языков (ср. чеш. *přati*, *přiti* ‘желать, быть расположенным’, польск. (s)przysjać, в.-луж. *přeś*, *přeś*, н.-луж. *pśaś* ‘благоприятствовать, желать’ и с подобным значением соответствия в других славянских языках). В русском языке имеем отмеченное в словаре В. Даля *приѣаю*, *приѣати* ‘относиться благожелательно, с любовью’, *пріязнь* ‘благодушие, благожелательство, любовь, милость’, диал. (орл.) *пріять кого* ‘приласкать, приголубить’ (праслав. **ргіјати*; сюда же (не)пріязнь, пріятель в славянских языках) [Даль В.И. Т. 3. С. 1217; Фасмер М., Т. 3. С. 369-370]. Об исторической глубине и исходном значении членов этой ЛГ свидетельствует родственная лексика других индоевропейских языков: скр. *ргіуā* 1. ‘приятный, милый, любимый, ценный, дорогой, любящий кого-л.’, 2. ‘муж, супруг, любовник, зять’, 3. ‘доброта, благосклонность’; *ргіуāta*, *ргіуātva* – ‘глубокое расположение, симпатия’; *ргіti* ‘любовь, дружба, радость, удовлетворение’; *ргіуа-samvāsa* – ‘совместная жизнь с близкими’; хинди *прий* ‘любимый’, авест. *frya* ‘дорогой, любимый’, гот. *frijōn* ‘любить’, *friarwa* ‘любовь’, нем. *freien* ‘сватать’, гот. *frijonds* ‘друг’, нем. *Freude*, др.-исл. *fríðill* ‘возлюбленный, любовник’ и т.д. [Фасмер М., 1994. Т. 3. С. 369; Черных П.Я., 1994. Т. 2. С. 68; Machek V., 1957. С. 399]. Видимо, причиной ухода из активного запаса производных от **ргіја*- в славянских языках были фонетические изменения (действие закона открытого слога), в результате которых формально сблизились продолжения **ргіја*- и приставочные образования от глагола *имати* (слав. **imti* из и.-е. **emti*)).

Таким образом, мы видим, что концепт «любовь», представленный в древнерусской (славянской) лингвокультуре, отражает разные этапы осмысления понятия любовь/любить на индоевропейском, балтославянском и общеславянском уровнях. Из индоевропейского унаследовано очень архаичное, вероятно, возникшее до выделения Его из общего ‘свои/мы’, до осознания индивидом своей самости (ср. и.-е. **ргі*- > **ргіја*- ‘близкий рядом находящийся живущий’ → ‘близкий человек’/ ‘свой, любимый, друг’ и лат. *privus* ‘отдельно взятый; каждый порознь; особый, собственный’). Позднее – но еще на индоевропейском уровне –

‘любить / любовь’ осмысливается через ‘велеть/воля, желать, стремиться, жаждать’ (производные *leubh-, *gwhel-, *ghedh-). Характерно, что эти индоевропейские образования могли выполнять функцию общей положительной оценки (ср. лат. prius ‘раньше, прежде’ и ‘скорее, лучше’, prorgius ‘своеобразный, собственный’ и ‘надежный, подходящий, пригодный’, рус. *любо* ‘хорошо’, англ. well, нем. wohl и др.). В период особо тесных балто-славянских отношений сложилось представление о любви как чувстве, предполагающем взаимность – уподобление, приспособление друг к другу, склонность (балто-славянские словообразовательно-семантические инновации – *милый/милети, миловати(ся), нравиться/приноравливаться*). Типологически подобный семантический переход наблюдаем в германских языках (ср. англ. like ‘похожий, подобный, равный’ и ‘любить, (за)хотеть’). В праславянский период концепт пополнился новыми компонентами / признаками: ‘любовь’ как ‘жгучее (чувство)’, ‘любить’ как ‘горячо желать’ или ‘печься’~ ‘заботиться’; ‘любить’ как ‘хотеть < завладевать, хватать’. К общеславянскому же времени относится формальное совпадение *желать* и *жалеть* с последующей контаминацией их семантических структур. Из представленного анализа языкового материала следует также, что концепт этического характера свидетельствует о различиях между этическими представлениями, отраженными в разных языках, «однако ничуть не менее глубоки различия, которые могут быть проведены между этическими системами, сосуществующими в рамках одного языка и находящими свое отражение в семантике языковых единиц, используемых в подъязыках, обслуживающих соответствующие системы» [Шмелев А.Д., 2002. С. 299].

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю. и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1999. Вып. 1; 2000. Вып. 2.
- Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Київ, 1958–1959. Т. 1 – 4.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд., репринт. М., 1994. Т. 1 – 4.
- Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. 3-е изд. М., 1996.
- Кубрякова Е.С., Демянков В.З. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Носович И.И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
- Словарь русского языка XI – XVII вв. М., 1978. Вып. 5 (СРЯ. XI – XVII вв.).
- Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. 2-е изд. М., 2001.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964 – 1973.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. 1 – 2.
- Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

Этимологический словарь славянских языков (ЭССЯ) / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974.

Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955.

Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954 – 1963. Bd. 1 – 2.

Lambert P.-Y. La langue gauloise. Paris, 1994.

Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3-te, neubearb / Aufl. von Hofmann J.B. Heidelberg, 1938 – 1954. Bd. 1 – 2.

Р.Н. Порядина

О СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

Языковые категории как устойчивые когнитивные механизмы

Основные движения человеческой мысли закрепляются в лингвистических формах, косвенно и опосредованно дающих представления о работе мозга по обработке поступающей извне информации, по формированию коммуникативных структур, способных адекватно передать результаты интеллектуальной деятельности. При таком рассмотрении язык – это, с одной стороны, продукт проделанной интеллектуальной системой трансформации чувственно воспринимаемой информации об окружающей действительности в знаковую, с другой – это непрерывный поиск соответствия, общего, между языковой и неязыковой реальностями. Лингвистическая семиотика представляет собой результат и процесс претворения в широком понимании «системы видения» в «систему познания». Системы эти динамичные и открытые. Изменения в любом из компонентов триады «язык – психика – опыт» влечет взаимное преобразование систем. То устойчивое, чему подчиняется трансформация и что помогает произвести изменения, есть категории языка. В процессе эволюции язык выработал известный арсенал способов оформления похожих, повторяющихся «ходов» мысли. «Магистраль движения» мысли формируют категории. Философские категории неразрывно связаны с языковыми. Они проявляют себя через язык разнообразными лингвистическими реализациями и закрепляются речевой традицией. Категории, получившие воплощение в формах языка, – языковые категории. Язык являет собой своеобразный «костыль», поддерживающий мысль. Мир, «увиденный» языком и «познанный» им в процессе выработки внешней и внутренней формы, – это мир, подвергаемый обобщению в пределах производимой классификации. Устойчивые грамматические и семантические категории – опорный «каркас» лингвистической системы.

С точки зрения гносеологической функции, язык помогает осмыслить и передать информацию в виде гносеологических образов, но препятствует освобождению от стандартов мышления. Устойчивость языка обусловлена не только типичностью ментальных конструкторов, используемых для трансформации чувственной информации в интеллектуаль-

ную, а также для операций со знаками, но и узусной закреплённостью лингвистических формальных и семантических образований. Оперативная эффективность ментальных структур, которые соответствуют «означаемому» языкового знака и образуют языковую семантику, доказывается тем, что они проверены и утверждены коммуникативным опытом. Лингвистические структуры, произведенные когнитивными механизмами, сами становятся порождающими моделями. Интеллектуальная система как моделепорождающий феномен, поставляя свою продукцию любой знаковой системе, обеспечивает себя новой системой отношений, зависимостей и новой оперативной единицей, способной обслуживать несколько систем и, соответственно, вырабатывать новую информацию для каждой из них и тем самым упрочивать связи между ними. И в этом смысле человек мыслит теми информационными моделями, которые задает ему язык как одна из знаковых систем. В процессе необходимого приспособления знаковых систем друг к другу, в механизмах выработки новых межсистемных и семиотических зависимостей между ними они развиваются. На динамику языка оказывает сильнейшее влияние семиотическое взаимодействие «когниция – язык – коммуникация – культура». Семиотическая изменчивость действует в пределах ментальной и биологической детерминированности создателя знаковых систем. Лингвистическая семиотика как первичная универсальная интерпретативная система, обладающая мощной творческой, преобразующей силой, как особая мировоззренческая и моделепорождающая система стоит в центре гносеологических исследований.

Семантическая категоризация как способ миромоделирования

Идея отражения действительности в языке с позиции когнитивного подхода переосмысливается как миромоделирование в языке. Язык не столько отражает, но главным образом моделирует действительность (см., напр.: [Селиверстова О.Н., 2002. С. 17 – 18]), поскольку он формируется в результате осмысления, а осознание – это и есть создание модели. Язык интерпретирует увиденное ментальными знаковыми конструктами.

Признание ведущей роли субъекта в языке приводит к рождению функциональной, а затем и когнитивной лингвистики. Методологическую основу этих направлений формирует представление, что «человек оперирует тем, что создал». Ментальные детерминации языка получают статус системы зависимостей первого порядка. И в этом смысле все в языке субъективно, потому что все есть модель, и все антропоцентрично, и все направлено на реализацию контактоустанавливающей функции, на обслуживание сферы общения. Когнитивная лингвистика стре-

мится в языковых моделях усмотреть когнитивные механизмы, способы ментальной трансформации и представления знаний и в конечном счете систему представлений человека о мире. Это попытка увидеть язык изнутри: его «материю» (семантическое пространство; смыслы, которыми он оперирует), «творчество» (способы языкового моделирования) и «мышление» (особый мир в языке; сущее «глазами» языка). Такой взгляд позволяет человеку увидеть себя, как в зеркале, в том, что он создал.

Когнитивный подход предполагает главенство семантики в силу таких ее свойств, как:

- а) универсальность (семантика пронизывает все уровни языка);
- б) репрезентативность («когнитивная структура заложена в значениях языковых выражений» [Демьянков В.З., 1994. С. 23]);
- в) функциональность (мышление осуществляется посредством семантических сущностей [Демьянков В.З., 1994. С. 20]);
- г) референтность (в значениях находят отражение внеязыковые данности [Кацнельсон С.Д., 1972. С. 19]).

Таким образом, семантические правила являются общими, по выражению Е.В. Рахилиной, для языковой, внеязыковой и ментальной реальности [Рахилина Е.В., 1998. С. 281]. По этой причине языковая семантика – приоритетная область изучения когнитивистов, открывающая большие перспективы для разноплановых лингвистических исследований (см. обзор направлений когнитивной лингвистики в статье В.И. Герасимова (1985. С. 218 – 220). Когнитивная лингвистика задается целью выявить ментальные детерминанты языковой семантики (языковых и речевых форм в частности) и обнаружить, исходя из анализа смыслового универсума, семантические модели как сущностные базовые механизмы восприятия, лежащие в основе языковой категоризации и репрезентирующие глубинное языковое сознание.

Категоризация – один из базовых принципов семиотического моделирования. Язык, по словам Дж. Брунера, «не позволяет ничего сообщить иначе, как в терминах рода или категории». Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включенным в систему категорий, оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, погребенной в безмолвии индивидуального опыта [Брунер Дж., 1977. С. 16]. Языковая категоризация не только обобщает опыт, являясь основной кодовой системой, способом языковой типизации, не только служит операционной системой перевода неязыковой информации в языковую и позволяет упаковывать информацию в вербальные формы. Категориальный аппарат видится как способ организации результатов познавательной деятельности в долговременной памяти, а задачей категориальных систем является

обеспечение максимума информации ценой минимальных когнитивных затрат [Герасимов В.И., 1985. С. 231 – 232]. Не случайно поэтому У. Лабов предлагает определять исследование языка прежде всего как исследование категорий, выраженных в языке [Лабов У., 1983. С. 133].

Разные языковые категории отражают типы структуризации действительности. Они служат целям передачи смысловой информации и целям организации словесного ряда в речи. Последние в лингвистической традиции называются реляционными и указывают на сочетаемость форм в синтаксисе. Как убедительно показывает Б.А. Серебренников, и реляционные и нереляционные грамматические категории передают определенные значения, хотя и неодинаковой степени абстракции. [Серебренников Б.А., 1988. С. 6 – 64]. Это дает основание считать, что в семантической стратификации участвуют все двусторонние единицы языка и семантическая категоризация охватывает план содержания языка как единый семантический континуум. Обнаружение семантического объема категорий позволит выявить реальные когнитивные модели, составляющие основу человеческого мышления.

В результатах такого рода исследования нуждаются многие лингвистические направления. Семантика, прагматика, семиотика и лингвистическая типология получают новый потенциал развития. Семантические изыскания в рамках когнитивизма решают актуальную задачу контенсивной типологии: определить систему семантических категорий, образующих универсальный и идиоэтнический компонент языка [Кацнельсон С.Д., 1972. С. 15], что представляется необходимым при определении специфики национальной и универсальной языковой картины мира и для решения вопроса о наличии / отсутствии национального мышления. В целом исследование семантики естественного языка имеет непосредственное отношение к изучению структуры мышления, а с развитием когнитологии связывают возможности постижения природы разума [Герасимов В.И., 1985. С. 215, 219].

Семантическая категория

А.Б. Пеньковский открыл эру семантической категории нового типа в отечественном языкознании. По сути он обосновал правомерность интерпретации признака «чуждости» как семантической категории и указал на синкретичный характер этой категории, который состоит в разноплановости составляющих ее единиц и в том, что они обслуживают одновременно несколько категорий [Пеньковский А.Б., 1989. С. 54–82]. Такое понимание категории вполне соответствует представлению о категориях «нового времени» (см. обзор современных моделей категории, напр., в [Порядина Р.Н., 2002. С. 76]). Категория «чуждости»,

безусловно, скрытая категория. Задачу изучения скрытой грамматики поставил С.Д. Кацнельсон. Под скрытой категорией он понимает подразумеваемые категориальные признаки, не имеющие самостоятельного выражения в языке [Кацнельсон С.Д., 1972. С. 83]. Как правило, скрытая категория не получает непосредственного специализированного выражения, связана с тонкими смысловыми оттенками, выявляемыми по их взаимодействию с некоторыми формами, и передается совокупностью организованных средств [Whorf B., 1959]. Многие категории оказываются, с такой точки зрения, запрятанными в значениях слов и синтаксических связях слов в предложении.

Выявление свойственного той или иной категории репертуара функций является необходимой предпосылкой для обнаружения формального аппарата и углубленного анализа категории, для понимания ее однородности или неоднородности. Этими целями задается функциональная грамматика. В качестве операционной единицы функциональной грамматики выступает функционально-семантическое поле. Если лексико-семантическое поле объединяет единицы лексического уровня по общности семантического признака, то функционально-семантическое поле – образование более сложное. Оно базируется на семантической категории грамматической степени абстракции, например аспектуальности, залоговости, таксисе и под. и включает единицы общей функциональной направленности в основном грамматического уровня и частично лексического [Бондарко А.В., 1998. С. 566 – 567, 1987. С. 11; Корди Е.Е., 1990. С. 170]. Вероятность попадания лексических средств в функционально-семантическое поле возможна лишь в той мере, в какой «основные семы в лексике совпадают с категориальными грамматическими значениями в грамматике» [Степанов Ю.С., 1998. С. 439]. В результате распределения языковых форм по типам функционального содержания ядерные семантические категории грамматического толка получают формально-семантическую конкретизацию. Этот существенный момент теории авторы оговаривают в теоретическом обосновании своей научной концепции: «каждое поле включает систему типов, разновидностей и вариантов определенной семантической категории, соотносенную с разнообразными средствами их выражения» [Бондарко А.В., 1987. С. 11]. Семантический план языкового существования, таким образом, предстает как многослойное образование, состоящее из частично накладывающихся друг на друга семантических полей с ядерными центрами, наиболее полно представляющими категорию.

Если выстроить общую исследовательскую логику изучения семантических категорий, то получится следующая динамическая модель:

философские категории → философские категории как способ лингвистического осмысления языковых функций (появляются понятия «часть речи», «член предложения») → языковые категории, посредством которых осуществляется формально-структурное описание языка в терминах «грамматические», «лексические», «семантические категории» и др. → языковые категории в аспекте многообразия функционально-семантической реализации (формируется полевой принцип описания языка, вырабатываются понятия «семантическое поле», «функционально-семантическое поле») → семантические категории как языковые категории плана содержания с поддерживающим их существование формальным аппаратом, как структурные единицы «внутренней формы языка» и когнитивные модели. Трансформация понятия «семантическая категория» соответствует внутренней логике развития научного познания, где бесконечное углубление в сущность объекта идет от функции к структуре, от нее к более глубокой функции и т.д. При том, что в процессе научного осмысления понимание «языковой категории» эволюционирует, каждый этап развития языкознания оставляет в аппарате лингвистического описания свою трактовку термина «категория». Термин необыкновенно устойчив, хотя и семантически перегружен. За многозначностью понятия, безусловно, стоит общая сущность обозначаемых им явлений философского уровня обобщения. Это основная выполняемая интеллектуальными и семиотическими системами функция – подведение частного под общее, под категорию. «Класс» как первичная минимальная система оказывается необходимой операционной единицей моделепорождающих механизмов, без которых они не могут существовать и функционировать. Объем понятия «категория» не может не разрастаться, потому что частное и общее, бесконечно увеличиваясь как элементы систем, находятся в бесконечной динамике. Расширяется представление о категориях, множится их число. Динамика эволюции философско-лингвистической категории весьма показательна для понимания когнитивной значимости этого явления. Если проследить, какую область ментальной реальности осмысляет категория в истории своего развития, то это будут логические законы мышления, законы речи, законы познания. В становлении понятия отражается логика движения лингвистики, которая пытается ответить на вопросы: как мы мыслим, как говорим, как думаем?

Представляется, что понятия «функционально-семантическое поле» и «семантическая категория» отражают разные методологические принципы научного описания. Функционально-семантическое поле – структура коммуникативно-функциональная, позволяющая рассмотреть грамматику языка с точки зрения функционального содержания. Семан-

тическая составляющая лингвистического анализа привлекается для уточнения вариантов функций грамматических средств. Семантическая категория, на базе которой выделяется функционально-семантическое поле, призвана объединить одинаково функционально направленные грамматические средства языка. В результате исследования функционально-семантических полей возникает теория функциональной грамматики.

Семантическая категория – понятие системно-структурное, позволяющее описать план содержания языка как единую смысловую систему, выявить способы типизации и формирования языковой семантики. Это образование включает разноуровневые единицы, объединенные общностью смы, и/или функции, которые обнаруживаются часто на основе тонкого функционального анализа речевых форм. В большей мере требуют такого анализа периферийные элементы семантической категории, которые могут иметь значительную часть общих признаков с другими категориями. Многокомпонентность семантики и ее континуальность дают языковым образованиям возможность входить по разным семантическим признакам в несколько семантических категорий. Семантическая категория, взятая как единая информационная структура, как единица языковой семантики во всей совокупности формального аппарата и функционально-когнитивного потенциала, является оперативной моделью когнитивно-семантического анализа. Многократная повторяемость в разных языковых элементах тождественных смыслов, что фиксируется семантической категорией, свидетельствует об их важности в информативном пространстве человека. Отсутствие изоморфизма между планом выражения и планом содержания приводит к появлению в языке многослойных структур с рядом промежуточных образований [Кацнельсон С.Д., 1972. С. 20]. Распределенность существенных для языка смыслов между разными планами выражения делает языковую систему избыточной, но обладающей в высшей степени эффективным адаптивным механизмом.

Семантическая категория желательности

Одним из фундаментальных семиотических принципов является членение универсума на миры «желаемое – нейтральное – нежелаемое». Этот смысл, по мысли А. Вежбицкой, универсален и может быть применен в методике описания языковой семантики в качестве семантического примитива «хотеть» [Вежбицкая А., 1997. С. 330]. Глаголы *хотеть* и *желать* являются прототипом и ядерными, центральными средствами выражения семантической категории желательности.

Выявим структуру интересующей нас категории в языковой системе среднеобских говоров. Обращение лингвистов к устному разговорному языку с позиций категориального аппарата видится продуктивным в свете признания того, что «многие категории, выработанные исследователями языка на протяжении столетий, являются принадлежностью не языка вообще, а письменного кодифицированного языка» [Кибрик А.А., Плугян В.А., 1997. С. 321]. Практическое изучение категорий в разных функциональных системах общенародного языка поможет ответить на поставленные наукой вопросы.

Категория «желательности» является скрытой семантической категорией. Не имея специализированных грамматических способов выражения в русском языке вроде опатива, она объединяет комплекс языковых средств, которые либо имеют в своем значении сему 'желаемое', либо при функционировании «работают» на эту категорию, в совместной встречаемости с другими средствами актуализируя ее смыслы. В формальном аппарате семантической категории желательности основную функциональную значимость «несет на себе» предикат *хотеть*: *Хотела я каку-то идеялишку ли чё ли туды [постелить]; Я хотела вам по тимчикам скатать; Да вот нынче боковушечку хотим пристроить; А я хочу вот тут накомодничек тряхнуть; Хотел полишко немного подмыть*.

Периферийная область категории желательности весьма обширна. Нельзя не заметить в вышеприведенных высказываниях, что предикату *хотеть* сопутствуют форма первого лица, местоимения первого лица, дейктические слова и субстантивные формы субъективной оценки. Этот формально-семантический комплекс – вторичное средство выражения категории желательности. Ни одно из названных средств не является строго обязательным при выражении категориального смысла, но их появление «оправдано» актуализацией и усилением значения 'желательности'.

Предложения с формами сослагательного наклонения, реализующими значение 'неосуществленной желательности', также «обслуживают» семантическую категорию желательности: *Какой бы обласишка был с нами; Ой, внученька, не знала, что в гости придешь, я б тебе биточек сварила; Эх, зубки бы были, пощелкал бы орешки; Он получал бы какую-нибудь часточку, не маялся бы*.

Грамматическое значение будущего времени имеет периферийное значение 'намерения', пересекающееся с семантикой 'желательности' в силу производности этих смыслов: действие развивается от желания к намерению и к осуществлению. В высказывании *Я в огород пойду – само главно сходить. Подальше моя-то пластинка там* глагольная сема

‘намерения’ в форме *пойду* поддерживается предложением *само главное сходить*, где рема представлена оценочным словосочетанием, указывающим на важность совершения действия, а тема подтверждает намерение осуществить действие инфинитивом в результирующем значении.

Категория долженствования имеет общую с категорией желательности формально-семантическую часть, где идея «долженствования» не противоречит смыслу ‘желательности’. Это возможно, если действие, обозначенное глаголом и сопровождаемое предикатом долженствования *надо*, совершается в пользу субъекта речи, что часто показывают личное местоимение первого лица в дательном падеже *мне* и формы субъективной оценки, реализующие положительные эмотивные смыслы. В таком взаимодействии средств проявляется пересечение не только семантических категорий желательности и долженствования, но и намерения, возможности, полезности, свойственности, эмотивности: *А мне надо палочки срубить под мак, как вроде загородить четыре колышка; Коровушку надо отправить, поросёночку сварить-накормить, курёночка, собаченьку накормить. Чё за баушка – хлопотунья скажут; Пальтушку свою постирать [надо]; Сыну пальто справить хорошее, тимочки надо; Холодно так, надо бы надеть пинжашишко жёлтый; Надо было вырубить задорочку, а я не сделала; Дома лук содим, капусту насодим, моркови насодим и картовочку надо, свиношке надо; Завтра субботный день, надо тут хоть промыть полик; Похлёбка – картошки да капусты, крупочки-то купить надо; Керосинчику бы надо; Мне ружьишко бы надо; Убёгом ушла замуж. Прийти надо, матушке в ножки поклониться.* Инвариантное значение всех приведенных высказываний ‘надо сделать полезное и нужное для себя, в собственных интересах, поэтому желательное’ является основной смысловой доминантой текстов.

Деминутивные производные обозначают желаемый предмет в высказываниях, где формы субъективной оценки включают в реализацию серию производных смыслов ‘нужный/полезный’ → ‘хороший’ → ‘желаемый’ (*Надо упорочку какую-нибудь сделать; Надо пойти в лавочку за бутылочкой; Я ломала помело, руки все вымазала. Надо потерять масличком кедровым. Да не оттирается*) или выделяют объект действие (*Машинку надо загнать по светлу, а то воротилки шибу; Да в огороде надо травку пошипипать, а то зарастёт всё. Трава больно большая; Амбарушку перебрать надо; Попрять кудёлочку надо*), и усиливают передаваемые совокупностью средств значения ‘желательности’, ‘нужности’, ‘полезности’, ‘свойственности’, положительной эмотивности. О том, что формы субъективной оценки прочно вошли в формальный аппарат категории желательности, свидетельствуют деминутивы – отвле-

ченные и вещественные имена, производящая семантика которых «запрещает» иметь модификационные формы, поскольку она не содержит семы 'размерности': *Корове тоже надо ласочку; А нам не интересно табак. Нам сено интересно. Коровкам сенка надо.* Деминутивные производные расширяют спектр своих функций и начинают обслуживать ряд скрытых семантических категорий: желательности, намерения, необходимости, полезности, свойственности, эмотивности. О том, что деминутивные модели являются периферийными средствами семантической категории необходимости, свидетельствуют высказывания типа *О дровнушках – и то забота; Свои коровки, свинья. Приходится водички наносить.* Формы субъективной оценки поддерживают и «смягчают» положительной эмотивностью сему 'необходимости', ядерную в семантике глагола *приходиться* в значении 'оказываться необходимым что-либо сделать'. В диалектном дискурсе среднеобских говоров семы 'тяжелый', 'трудный', 'необходимый' имеют слова *забота* и *работа*, поэтому они также входят в формальный аппарат скрытой семантической категории необходимости.

Наличие общей формально-семантической области в структуре категорий полезности, желательности и «свойственности» объясняется взаимной мотивированностью и производностью смыслов: в «свой» мир человек стремится пропустить только «желаемое», а «желаемое» старается сделать «своим»; «полезное» оценивается «положительно» и попадает в категорию «желательного». Наиболее ярко причинно-следственная связь смыслов 'желательности' и 'свойственности' проявляется на уровне «осуществленной желательности»: *Потом дома поставили. Сделали домишечка себе; И рыбочку достанет, и нас покормит; Некоторые подсобют, коровушку заведёт, обулки; Внук ёлочку поставит, вот теперь уедут, так скука задавит; Калошки себе купила; Добре уж ягодиனுшка есть. По смородинку.*

Косвенно идея «желательности» выражается словами, указывающими на отсутствие желаемого предмета, номинация которого осуществляется формами субъективной оценки: а) бытийным глаголом с отрицанием *нет*: *То пимишек нет, то пальтишка; Близко была школа, да не ходила: я в сиротстве жила, роскошки не было; В ботинках-то ходила Катюшка до половины зимы: пимочки не на что справить было;* б) вопросительным местоимением *где*, указывающим на отсутствие предмета и в то же время на его необходимость, желательность субъекту речи: *Силушки-то, иде взять её, вся уж вышла. Хлебушка зарабатывать; Побелю. Где у нас белилочка?; Где-то у меня складничек есь; Ой, снежок, снежок! Где мой женишок?;* в) наречием количества *мало*: *Маловато дожжесу. Совсем скотина задыхается. Илья пророк как заведы-*

ват? Илья пророк едет на лошади на колеснице. Махнёт рукой – и дождь; Дак ей десяточку-то мало на неделю; г) глаголом недостаточности не хватать: Сейчас тока и пожить, а силушки-то не хватат... Красны вы мои солнушки.

Значение смягченного побуждения передается общим комплексом средств семантических категорий желательности, возможности, полезности, свойственности, эмотивности и реализуется в речевых жанрах совета (*Лучше какой-нибудь анбарик купили бы; Ты пертятишки надевала бы каки-нибудь; Забежала да полотенчиком бы вытерлась*), просьбы (*Пошёл бы конобушечку купил*), разрешения (*Играли бы в оградочке. Кого делать в избе?*), приглашения (*У меня малинки много, огурчишки, помидоришки посадил. Вот бы поели, кабы поели, красненьки вы мои солнушки. Недельки две, однако, не больше, тогда малинка поспеет, вот тогда бы и зашли поглядели бы. Ведерок пяток наберу. Лучок, чесночок растёт, помидорки черты сорта*). Основным языковым средством в среднеобских говорах, смягчающим побуждение, являются интонация и формы субъективной оценки: *Хозяюшка, подай крыночку молока; Иди, коровушку подой; На крылечек беги; Иди к нам сам, на ножках; Когда я прихожу к внучке. Говорю: «Дай рученьку»; Ешь оладинку, ешь.*

Таким образом, словообразовательные производные с суффиксами субъективной оценки за счет абстрактности своей семантики, пригодной для многофункционального использования, являются общим языковым средством, объединяющим ряд скрытых семантических категорий.

В целом категорию желательности можно считать универсальной настолько, насколько прочно она связана с волеизъявительной функцией языка. Волеизъявление как трансляция желаний субъекта речи стремится выработать в языковой реальности специализированные или полуспециализированные формальные средства. Семантика желательности проявлена во многих лексических и служебных средствах языка, например таких, как *хоть бы, вот бы, если бы, кабы, лишь бы* и под.; *посулить, радовать, угрожать, обидеть, отравиться, приятный, опасный, болезненный* и других лексемах, имеющих в основе значения смысл 'желательное/нежелательное для говорящего и/или собеседника'.

ЛИТЕРАТУРА

Бондарко А.В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Под ред. А.В. Бондарко, Т.В. Булыгиной и др. М.: Наука, 1987. С. 5 – 39.

Бондарко А.В. Функционально-семантическое поле // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. С. 566 – 567.

- Брунер Дж. Психология познания: За пределом непосредственной информации. М., 1977.
- Вежбицкая А. Язык. Познание. Культура. М.: Русские словари, 1997.
- Герасимов В.И. К становлению «когнитивной грамматики» // Современные зарубежные грамматические теории. М., 1985. С. 213 – 250.
- Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17 – 33.
- Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. М.: Наука. Ленингр. отд., 1972.
- Кибрик А.А., Плугин В.А. Функционализм // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сб. обзоров. М.: Изд-во МГУ, 1997. С. 276 – 340.
- Корди Е.Е. Оптативность // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л.: Наука, 1990. С. 170 – 185.
- Лабов У. Структура денотативных значений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 14. 1983. С. 133 – 176.
- Пеньковский А.Б. О категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1985 – 1987. М., 1989. С. 54 – 82.
- Порядина Р.Н. О семантической категории «свойственности» в русском языке // Картина мира: модели, методы, концепты: Материалы всероссийской междисциплинарной школы молодых ученых «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 ноября 2001 г.) / Под общ. ред. З.И. Резановой. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. С. 74 – 80.
- Рахилина Е.В. Когнитивная семантика: истории, персоналии, идеи, результаты // Семантика и информатика. М., 1998. Вып. 36. С. 274 – 323.
- Селиверстова О.Н. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической науки // Вопросы языкознания. 2002. № 6. С. 12 – 26.
- Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.: Наука, 1988.
- Степанов Ю.С. Семантика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. С. 438 – 440.
- Whorf B.L. Language, Thought and Reality. Cambridge; New-York, 1959.

Ю.В. Королева

РУССКИЙ ГЛАГОЛ КАК СПОСОБ ЯЗЫКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИСИТУАТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Нарастающая в современной лингвистике тенденция видения языка как динамической модели, как «тонкого» инструмента для передачи сложной динамики окружающего нас мира предполагает возрастание научного интереса к тому, что имеет отношение к действию как единице сегментированного нашим сознанием потока событий, сменяющих друг друга. При таком понимании действие несёт на себе печать «духа народа», и слова, описывающие действия, входят в «фонд слов, отражающих мировоззрение народа» [Арутюнова Н.Д., 1992. С. 3]. Понятия *процесс, событие, происшествие, деятельность* и т.п. соотносятся с понятием *действие*, которое в русском языке, как и во многих других индоевропейских языках, в основном названо глаголом, представляющимся сложной, гетерогенной языковой единицей, сочетающей пространство и время. Глагол отражает, прежде всего, взгляд на мир не с точки зрения предметно-пространственного представления о мире, а с точки зрения динамического представления о мире как объекте с событийно-временными характеристиками. Такая часть речи, как глагол, наиболее приспособленная для называния фрагментов динамической действительности, специализируется на передаче смены одних событий другими, так как глагольное содержание сочетает в себе данные о предыдущих, реальных и последующих событиях.

Русский глагол выполняет гораздо большую нагрузку в плане отражения действительности и её представленности в нашем сознании и в языке, чем глагол в языках аналитического строя. Обладая исключительной описательностью действия, детализированностью, глагол имеет компрессирующую природу, представляет собой «сжатую» информативную структуру, состоящую из иерархически выстроенных, разноплановых смысловых единиц, из всей информации, «вложенной» говорящим в языковую единицу в процессе производства речи и «развёрнутой» слушающим в процессе восприятия и интерпретации этой языковой единицы. Содержание глагола, называющего определенный фраг-

мент полиситуативного мира, складывается из информации, вносимой каждой из составляющих частей глагольной единицы: глагольной основы, префиксов, суффиксов.

Одним из результатов современных исследований глагола является признание у глагольной приставки собственной семантики; выделение целого ряда признаков автономности её семантики, не абсолютной зависимости префикса от глагольной основы; представление значений приставки как вполне определённой, «подвижной» системы, способной к варьированию и изменению. Такой взгляд на семантику приставки приводит к более глубокому пониманию семантического взаимодействия её с глагольной основой, а также к постановке вопроса избирательности префикса в присоединении к глаголам. Акцент исследования в этом случае переносится с глагола на саму приставку, подчёркивается её автономность, определённая самостоятельность (в противовес суффиксам). В этом случае глагольный префикс представляет собой уже не просто семантический признак в общем глагольном значении, а некую семантическую рамку вокруг значения глагола, одновременно самостоятельную и связанную с глагольной основой, в эту рамку можно вставить то или иное глагольное содержание, соотносимое с ней семантически. Сказанное выше относится не только к первичным глагольным префиксам, но и к вторичным приставкам. Таким образом, мы рассматриваем префикс как в определенной степени самостоятельную номинативную единицу, которая способна маркировать дополнительные позиции в семантической структуре глагола (в данной статье мы остаемся на семантике многоприставочного глагола).

Анализ семантических и функциональных особенностей русских вторичных префиксов показывает, что они служат средством дополнительного семантического насыщения глагола, причем насыщение глагольной семантики происходит по определенным направлениям, часто с перестройкой всей внутренней структуры глагола или с ее корректировкой. Подобная корректировка может происходить таким образом, что глагол представляет не действие вообще, в целом (*умолкнуть, опоздать, обогреться*), а действие с определенными количественно-временными или количественно-результативными характеристиками (*приумолкнуть, приопоздать, пообогреться*), без которых, по-видимому, невозможно представление действия в русском языке. Кроме того, действие может представляться качественно или количественно иным по отношению к исходному глаголу, осмысленным в нашем сознании как принципиально новое. Вторичный префикс, менее связанный с глагольной основой, является не только носителем самостоятельного смысла в общей семантике глагола, но и вписывает семантическое со-

держание, стоящее за глаголом, в определенные рамки, задавая типичный сценарий действия, выраженного глаголом с тем или иным вторичным префиксом.

Для современной семантики, обратившейся вслед за философией и логикой к анализу концептуальной структуры динамического мира, изменяющегося во времени и пространстве и представляющего собой совокупность связей и отношений, характерны исследования глагола в русле когнитивной лингвистики. В рамках когнитивной тенденции находится ситуативно-событийно-пропозициональный (полиситуативный) подход к семантике глагола, разработанный и обоснованный Н.Б. Лебедевой (1999), который позволяет описать особенности структуры динамического денотата, а в отношении многоприставочного глагола – выявить роль вторичного префикса в означивании всего полиситуативного комплекса, номинированного исследуемым глаголом.

В основе указанного подхода лежит категория полиситуативности, которую Н.Б. Лебедева рассматривает как универсальную категорию, охватывающую всё пространство языка. «Полиситуативность как семантическое явление находится на пересечении таких общенаучных категорий, как время, количество, смежность (логическая, пространственная, временная), и многих лингвистических явлений, в основном, глагольных (таксисных, аспектологических, темпоральных, словообразовательных), а также именных (число, одушевлённость, субъектность, объектность)» [Лебедева Н.Б., 1999. С. 36]. Человек, живущий в мире, в определённой степени зависимый от него, наделён способностью расчленять ситуации окружающего мира, вычленять в их структуре более дробные элементы, представлять их как субстанциональных и функциональных участников. То есть операции по членению окружающего мира на отдельные фрагменты определяются тем, как человек интерпретирует этот мир, какие задачи ставит при этом. «Именуемый мир одновременно и структурирован, и континуален, представляет именуемому субъекту определённую степень свободы в интерпретации» [Резанова З.И., 1996. С. 117], прежде всего – в интерпретации границ между фрагментами действительности. Смена ситуаций обычно происходит по воле субъекта, осознанно или неосознанно, но для наблюдателя со стороны, находящегося вне наблюдаемых ситуаций, граница между ними сложно определима, смена событий может оказаться незамеченной, т.к. явных изменений в положении дел может и не происходить. Таким образом, субъективное восприятие окружающего мира и осознание его как цепочки ситуаций (различной степени выделенности и объёма), по мнению Н.Б. Лебедевой, – основа понимания полиситуативности как существенной характеристики глагольного действия.

При понимании полиситуативности как семантико-функциональной, когнитивно-коммуникативной категории, обладающей специфическим планом содержания и разными способами выражения, глагол представляется языковой единицей, способной выражать фрагменты полиситуативной действительности.

Ситуативно-событийно-пропозициональный подход Н.Б. Лебедевой заключается в «дальнейшем углублении исследования денотативной семантики, выявлении структурно-функциональной специфики этого (более глубокого) слоя, представляющего собой гетерогенное, динамическое, системное образование» [Лебедева Н.Б., 1999. С. 15]. Предикативные денотаты как объект исследования, в отличие от «вещных», «телесных», являются фактами действительности, которые могут и должны подвергаться точному описанию в рамках пространства и времени. Представляя собой систему, денотативный уровень семантики глагола, как и любая другая система, состоит из участников и пропозиций, т.е. из элементов и их отношений друг с другом. Кроме этого, выделяемы и определяющие факторы, которые связывают участников маркированной глаголом ситуации, их действия, причины их действий и отношений в единый динамический полиситуативный комплекс. При таком подходе попавшая в коммуникативный фокус ситуация, названная каким-либо глаголом, рассматривается как связанная с другими ситуациями и находящаяся в непрерывной взаимообусловленности по отношению к другим ситуациям. Таким образом, ситуация рассматривается, с одной стороны, как продолжение, развитие предшествующих событий или ситуаций, а с другой – как толчок для последующих ситуаций, переход в новую ситуацию, как естественно вытекающее следствие из сложившегося положения вещей, которое предсказывается языковой формой и нашим знанием о похожем на данное положение вещей, почерпнутым из собственного или общественного опыта. Сама же ситуация, находящаяся в коммуникативном фокусе, представляет собой не меньший научный интерес и может быть разложена на составляющие (вопрос, насколько мелкие составляющие могут быть выделены при анализе, – это вопрос о глубине анализа).

Единицей ситуативно-событийно-пропозиционального анализа является ситуатема, которая представляет собой особый полиситуативный комплекс, т.е. комплекс ситуаций, соотносящихся с одной глагольной формой и являющихся как конвенциональными, так и имплицативными элементами плана содержания глагола. Это структура открытого типа, включающая ряд ситуаций (событий, пропозиций), маркированных лексическими и морфемно-деривационными средствами.

Ситуатема строится по полювому принципу в виде структуры с ядерной частью и периферийной. Ядро ситуатемы составляет **ассертивная ситуация** (или пропозиция – в этом случае данные термины выступают как синонимы), т.е. попавшая в коммуникативный фокус; это лексикализованная ситуация. Ядро по своей структуре неоднородно, внутри лексикализованной ситуации выделяются **ассертивные** и **импликативные** элементы.

Периферийная часть включает импликативно связанные с ядром, выводимые на ментальном уровне смежные ситуации. Периферия предполагает наличие **ближних, дальних, сверхдальних** компонентов.

Ядро и периферия имеют пропозициональную организацию. Таким образом, денотативно-пропозициональную структуру глагола составляют **включённые** в лексикализованную ситуацию (т.е. ядерные) **ассертивные** и **импликативные** пропозиции и **не включённые** в лексикализованную ситуацию (т.е. периферийные) пропозиции – **ретроспективные, проспективные, параллельные**.

Полевое строение ситуации позволяет исследовать содержание, стоящее за глагольной единицей, на разных уровнях: в масштабах лексикализованной ситуации (далее в работе – **Л-ситуация, Л-уровень**), микроситуации (**микроуровень – м-уровень**), макроситуации (**макроуровень – М-уровень**).

В масштабе Л-ситуации рассматривается тот фрагмент экстралингвистической реальности, который непосредственно соотносится с данным глаголом, – это ядро ситуатемы. На этом уровне исследуется актантно-предикатная структура пропозиции, лежащей в основе глагольной лексемы. По объёму информации Л-ситуация соотносится с лексическим (словарным) значением глагола, на которое мы опираемся в нашем исследовании.

Масштаб м-уровня предполагает дальнейшее исследовательское «дробление» Л-ситуации на составляющие элементы (фазы действия, поддействия, микроситуации, микрособытия), а также выделение их признаков. На этом уровне глагольную семантику рассматривают А. Вежбицкая, Е.В. Падучева, Г.И. Кустова и другие исследователи. Исследование многоприставочных глаголов в этом масштабе помогает выявить дополнительное включение одной пропозиции в другую в рамках одной предикатной структуры, за счёт которого возрастает изобразительная способность русского глагола.

В макромасштабе Л-ситуация исследуется во взаимодействии со смежными ситуациями, часто являющимися импликативными. Такой взгляд на глагольную семантику предполагается самой реальной действительностью и человеческим сознанием, способным делить на кусочки

непрерывный ход событий, вычленять смежные ситуации из длящихся времени и пространства и синтезировать их в одной глагольной единице. Исследование денотативно-пропозициональной семантики глагола в данном масштабе – это поэтапное описание ряда конситуаций, скреплённых временными, пространственными, логическими, модальными отношениями в один фрагмент, где «в фокусе» находится Л-ситуация, а смежные ситуации занимают «соседние кадры»: предшествующие и последующие (ретроспективные и проспективные). Описание, начинающееся с ретроспективного плана, с пресуппозиции (последняя является границей между ретроспективным и лексикализированным планом), и заканчивающееся проспективным планом, позволяет восстановить развитие событий и показать динамическую структуру глагольной единицы.

Ретроспективные и проспективные ситуации образуют ближнюю (наиболее связанную с Л-ситуацией), дальнюю и сверхдальнюю периферию, уходящую в область «возможных» или «альтернативных миров».

Таким образом, ситуатема – структура с подвижными границами, открытость которой связана с её полевым устройством: чётко «очерчено» ядро, «намечены» границы, которые корректируются экстралингвистической действительностью, её вариантами развития событий. Чем дальше от ядра ситуатемы, тем более вариативными и неопределёнными представляются границы.

Далее мы остановимся на ситуативно-событийно-пропозициональном анализе двуприваочного глагола с вторичным префиксом ПО- в дистрибутивном значении.

Денотативная структура подобных глаголов с дистрибутивной (распределительной) вторичной приставкой представляет собой полиситуативный, полипропозициональный комплекс, состоящий из нескольких / многих ситуаций, на наличие которых указывает именно вторичный префикс. Дистрибутивное значение префикса предполагает достижение результата рядом постепенных, последовательных и/или разрозненных действий, направленных на многие (или все) объекты или совершённых многими (или всеми) субъектами (*повыскочить, повыбежать, понастроить, понаварить*). Более частные значения, выделяемые в рамках дистрибутивного, могут варьироваться, поддерживаясь и разграничиваясь контекстом: многосубъектность (многообъектность) или исчерпанность субъектов (объектов) действия – *повымыть гору посуды (всю посуду), поистисать много бумаги (все тетради)*; очерёдность субъектов (объектов) действия, последовательность действия – *повыгрузить бочки одна за одной, позасеять грядки* (очерёдность может отсутствовать при нерасчленённости объекта или хаотичности, деструктивности действия,

что во многом зависит от первичной приставки и семантики самого глагола – *повытряхнуть все деньги из карманов, понабрать всякой мелочи, понамять травы, пораскидать вещи, поразбить всю посуду*). Дистрибутивная приставка «распределяет» внутреннюю структуру глагола таким образом, что ряд действий, названных одноприставочной единицей, рассматривается как одно сборное и номинируется одной многоприставочной единицей. Для номинатора действия важно в определенных случаях показать, что действие происходит не все сразу, а по определенным фрагментам, поэтому для этой цели вторичная дистрибутивная приставка ПО- является универсальным средством, так как сочетается в этом значении практически со всеми приставками, не противореча их семантике, корректирует значение глагола так, что действие, названное им, «подается порциями».

К этому типу относятся ситуатемы глаголов типа *повыходили все, поразузил много всякого, понадукал со всех сторон, понаехали гости, посибывал много яблок, поугасли все огоньки* и т.п.

Проанализируем ситуатему глагола *посрывать (посорвать)*.

1. **Общая характеристика глагола, значение, пример.** Мотивирующий глагол – *срывать (сорвать)*. Вторичный префикс ПО- присоединяется к основам совершенного вида и несовершенного вида, в последнем случае не только вносит лексическое значение, но и перфективирует глагол. Дистрибутивные единицы, образовавшиеся от СВ и НСВ, обычно являются дублетами. Образование многоприставочного глагола возможно практически от всех значений глагола *срывать (сорвать)*, например, *посрывать яблоки, посрывать двери с петель, посрывать гайки, посрывать планы, посрывать злость на окружающих, *посрывать поцелуи с губ* и т.д. Остановимся на первом значении одноприставочного глагола: «надломив, отделить от стебля, корня и т.п.»; многоприставочный глагол *посрывать* имеет словарную дефиницию: «сорвать постепенно все, многое» [Словарь русского языка, 1985–1988. Т. 3. С. 321]. В этом значении он относится к глаголам физического действия, причем действие носит деструктивный характер.

Рассмотрим ситуатему глагола *посрывать (цветы)*: *К концу лета Валя посрывала с клумб цветы*.

2. **Участники ситуатемы.** Актантная структура глагола *срывать* включает в себя действующего субъекта и объект, над которым совершается действие. За счет номинативных возможностей вторичного префикса ситуатема глагола *посрывать (цветы)* представлена большим количеством участников. Так как глагол предполагает повторение действия *срывания* цветов N раз, то и количество объектов, над которыми совершается действие, увеличивается до числа N. То же можно сказать

и в отношении субъектов действия, однако количественный состав этого участника ситуатемы, в отличие от объекта, варьируется и корректируется контекстом (ср. с глаголом *поприехать*, в денотативной структуре которого множественность субъектов обязательна). Итак, в ситуатеме глагола *посрывать (цветы)* выделяются Субъект (С), в приведенном примере – Валя, данный субъект является Агенсом, он определяет действие, т.е. каузирует и контролирует происходящие ситуации *срывания цветов*; Объекты: Объект-1 (О-1), Объект-2 (О-2), ..., Объект-п (О-п), т.е. цветы, конкретное количество которых глаголом не «оговаривается»; в качестве Инструмента действия выступают руки Субъекта. Помимо субстанциональных участников ситуатемы, выделяется Наблюдатель и Номинатор действия, т.е. участник второго плана, находящийся вне ситуации, обозначенной глаголом.

3. Пропозиции ситуатемы и их характеристика. Ситуатема глагола *посрывать* собственно полипропозициональна и полиситуативна, так как состоит из нескольких / многих **событийных** пропозиций, следующих друг за другом и «демонстрирующих» способность глагола изображать в одной лексической единице протяженность реальной действительности, ее полиситуативность.

Первая событийная пропозиция – «Субъект совершил действие над Объектом-1 с целью его изменения, т.е. отделения его верхней части от нижней» – Валя сорвала цветок, при этом произошло изменение Объекта-1, цветок оказался сорванным. Данная пропозиция является **маркированной**, т. к. названа одноприставочным глаголом, субъектно целеположенной, так как возглавляется активным субъектом, реализованной, так как объект отделен, цель действия достигнута.

Вторая событийная пропозиция – **срывание второго цветка** – аналогична первой, однако не обязательно полностью копирует ее. Степень типичности, подобности действий, обозначенных дистрибутивными глаголами, зависит от референтности самого действия. Например, ситуация, обозначенная глаголом *позанести (вещи)*, предполагает вполне определенный, неизменный стереотип протекания каждого из поддействий, в то время как в ситуации *приезда гостей*, номинированной глаголом *понаехать*, может варьироваться не только сама процедура протекания ситуации, а также вид транспорта, используемый субъектами, но и модальное «наполнение» ситуации: восторг, радость, раздражение, гнев и т.д. Вторая пропозиция ситуатемы *посрывать цветы* отличается от первой, во-первых, новым объектом (Объект-2), во-вторых, в зависимости от объекта – способом протекания действия, по остальным характеристикам эти пропозиции совпадают: **маркированные, субъектно целеположенные, реализованные.**

Событийная пропозиция N отличается от остальных тем же, что первая и вторая (а также третья, четвертая и т.д.) пропозиции друг от друга.

Четвертая логическая пропозиция соотносит в нашем сознании первую, вторую, ..., n-ю пропозиции и скрепляет их в одно целое. Разрозненные действия *срывания цветов*, происходящие в реальной действительности, разделенные временем, а возможно, и пространством, на уровне сознания и языка представляются единым действием. Отметим, что на это указывает именно вторичный префикс.

Данные пропозиции могут быть представлены следующим образом:

$$[C \rightarrow O-1 + C \rightarrow O-2 + \dots + C \rightarrow O - n].$$

4. Динамика протекания ситуатемы. Ситуатема глагола *посыпать* (цветы) на Л-уровне представлена n-м количеством событийных пропозиций и логической пропозицией-связкой.

Рассматриваемая ситуатема представляет собой полипропозиционную структуру “внутреннего таксиса” [Лебедева Н.Б., 1999], которая делится на следующие друг за другом “кванты” действия. Эти кванты могут быть в той или иной мере упорядочены, между ними может быть какой-то промежуток времени, и то и другое зависит от референтности действия: *позащить дырки, пораскидать вещи, позанести мебель* – можно с небольшим интервалом между поддействиями; *перезабывать друзей, понаписать романов, поразрушиться (о домах)* – эти глаголы предполагают более длительный временной промежуток между действиями.

На м-уровне действие, названное полипрефиксальным глаголом, определяется содержанием мотивирующего монопрефиксального глагола, так, *срывание цветов* предполагает, что для совершения этого действия Субъект должен, как правило, наклониться, дотянуться до цветка и, надломив стебель и потянув за него, сорвать цветок. Глагол *сорвать* совершенного вида, т.е. в ситуатеме глагола *сорвать* в ассерции находится уже результат описанного выше действия. Необходимо отметить, что на данное действие можно взглянуть и с другой стороны – со стороны Объекта. До наступления действия Объект предстает перед нами в одном “образе” – живого цветка, растения, существующего по своим природным законам, после совершения действия – это измененный Объект, т.е. сорванный цветок, который перестает быть целостным по отношению к остатку стебля и корням, в его структуре нечто полностью меняется, и это делает его неживым организмом, хотя он и остается натурфактом. В этом проявляется деструктивный характер действия. В ситуатеме глагола *повырубить (леса)*, подобной по своей актантно-

предикатной структуре и деструктивному характеру действия ситуатеме глагола *посрывать (цветы)*, в отличие от последней, ярко выражен статус абстрактного Субъекта Этической Оценки, “заинтересованного в правильности мироустройства” [Лебедева Н.Б., 1999. С. 111], который оценивает ситуацию уничтожения лесов в целом как негативную.

Содержание анализируемого глагола не ограничивается Л-уровнем. На М-уровне ситуатема глагола *посрывать* характеризуется ретроспективной направленностью, взглядом назад, так как вторичный префикс вносит указание на множественность и / или исчерпанность объектов, существовавших в ретроспективной ситуации. “Речь идет не столько о самих объектах, которые после воздействия на них лексикализированным действием имеют качественные отличия от их состояния до этого действия, сколько об объеме этих объектов. Объем объектов после воздействия равен или как-то иначе (“половина”, “треть” и т.д.) соотнесен с объемом объектов до этого действия, т.е. в ретроспективной ситуации. Определители объема – “весь”, “половина”, “большая часть” – отсылают наше внимание к ретроспективной ситуации” [Лебедева Н.Б., Королева Ю.В., 1997. С. 178]. Таким образом, ближняя ретроспекция предполагает наличие не измененных действием объектов, которые должны к моменту совершения действия быть подходящими для этого действия, обладать определенными свойствами – т.е. цветы должны цвести, это качество объекта задает проспективную ситуацию. Дальняя ретроспекция, метонимически связанная как с ближней ретроситуацией, так и с Л-ситуацией, выражается в том, что цветы должны быть посажены. Если ретроспективный путь “семя (рассада) – росток – нераспустившийся цветок – зацветший цветок” (а также ретроспекция большинства дистрибутивных глаголов) представляется ярко, “выпукло”, то направление проспекции более “размыто”, так как она ирреальна, гипотетична. В отношении ситуатемы глагола *посрывать цветы* проспективный план известен нам из нашего опыта и знания реальной действительности: чаще всего цветы срывают, для того чтобы ими любоваться, на них смотреть (возможно, нюхать) и получать от этого эстетическое наслаждение, их дарить и доставлять этим удовольствие, радость.

Мы рассмотрели “сильный” вариант реализации ситуатемы глагола *посрывать*, но ее номинативный потенциал шире. Он определяется, во-первых, видом объекта (*посрывать яблоки*, *посрывать ягоды* и т.д.) и, следовательно, содержанием м-уровня; во-вторых, типом субъекта. В последнем случае мы имеем в виду противопоставление Агенса и Контрагенса – актанта субъектного типа, находящегося с Агенсом в не-параллельных отношениях, т.е. совершающего действие, противопо-

ложное целеполаганию Агенса. В этом случае возможно другое развитие ситуации *срывания цветов*, при которой цветы, выращенные неким субъектом, срывает кто-то иной без его согласия (т.е. ворует их), тогда ситуатема будет осложнена дополнительными модальными пропозициями.

5. Роль вторичного префикса в “оформлении” ситуатемы. Роль дистрибутивного префикса ПО- в выражении ситуатемного значения сводится к следующему: он раздвигает рамки действия, обозначенного одноприставочным глаголом за счет включения в его денотативно-пропозициональную структуру дополнительных пропозиций, обращая взгляд наблюдателя действия назад – к «картине» постепенного охвата действиями большого количества объектов и / или включения в эти действия большого количества субъектов. При этом ПО- маркирует не единственную событийную пропозицию, как префиксы во многих многоприставочных глаголах (*заприметить, подвыпить, произвести, приутихнуть* и т.д.), а несколько / много событийных пропозиций, которые, вместе взятые, скрепленные логической пропозицией, составляют лексикализованную ситуацию. В сравнении с одноприставочным глаголом *срывать / сорвать* многоприставочный глагол *посрывать (посорвать)* обозначает не одно действие, а разные, аналогичные, но не идентичные действия, поданные как единое. При назывании действия глагольной единицей с дистрибутивным вторичным префиксом не просто корректируются количественные рамки действия, а меняется сам принцип «языковой подачи» действия, при котором разные фрагменты (с разными объектами / субъектами) полиситуативного пространства реальной действительности воспринимаются в их целостности как принципиально новое действие, для которого в языке находится отдельная лексическая единица – многоприставочный глагол. По-видимому, о значениях таких глаголов можно говорить как о мутированных в большей степени, чем у многоприставочных глаголов с кумулятивным, демунивативным, начинательным и др. значением, хотя мы и осознаем, что здесь речь идет о переходном случае между модификацией и мутацией как типами глагольной номинации.

Итак, анализ денотативной семантики русских многоприставочных глаголов показывает, что вторичные префиксы маркируют дополнительные пропозиции в семантической структуре глагола. По сравнению с ситуатемами одноприставочных глаголов соотносимые с ними ситуатемы многоприставочных глаголов осложнены дополнительными пропозициями. Среди дополнительных пропозиций, маркированных вторичными глагольными префиксами, выделяются **событийные**, как в рассмотренном случае, а также **фоновые** и **каузативные** пропозиции.

При этом вторичные префиксы трансформируют действие, названное одноприставочным глаголом, в несколько иное, “подгоняют” его под конкретные номинативные задачи назывателя действия. Обращение к ситуатеме как единице ситуативно-событийно-пропозиционального анализа семантики глагола позволяет представить содержание, стоящее за глаголом, как иерархически организованную структуру, в которой каждая из составляющих глагол морфем «отвечает» за свой фрагмент общего глагольного смысла; помогает расширить границы анализа глагольной семантики и описать динамику протекания ситуаций, смену их друг другом, т.е. полиситуативную природу русского глагола.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н.Д. От редактора // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992. С. 3–4.

Лебедева Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских префиксальных глаголов). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 262 с.

Лебедева Н.Б., Королева Ю.В. Русские глаголы с приставкой НА- кумулятивно-накопительного способа действия // Явление вариативности в языке: Материалы Всероссийской конференции (13–15 декабря 1994 г.). Кемерово: Кузбассвуиздат, 1997. С. 178–182.

Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. 218 с.

Словарь русского языка: В 4 т. /АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1985–1988.

Д.А. Катунин

ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕК В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ФРАГМЕНТЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА: СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Осмысление категории времени в русской языковой картине мира (РЯКМ) всегда предполагает явное или – чаще – скрытое сопоставление двух участников действия: времени и человека. И, соответственно, все метафорические модели, в которых представлена категория времени, включают субъектно-объектные отношения человека и времени, вследствие чего и сами эти модели могут быть классифицированы на основании того, что или кто является в них субъектом действия.

Анализ метафорической лексики показывает, что в РЯКМ именно время в подавляющем большинстве случаев воспринимается в качестве субъекта действия, некой самодовлеющей силы по отношению к человеку, роль которого или не обозначается, или сводится к исполнению роли пассивного объекта действия.

Как субъект действия время выступает в двух функциях: оно движется (*время идёт*) либо производит какие-либо манипуляции с человеком (*время лечит*).

В языковых метафорических моделях движения времени (ЯММДВ) отношения времени как субъекта и человека как объекта в наибольшей степени актуализированы в высказываниях следующего типа: *Из этой дивной жизни вон и прочь, / копытами стуча из лета в осень, / две лошади безумных – день и ночь / меня безостановочно уносят.* (Губерман); *И вдаль несла нас времени река* (из песни); *Время привело (подвело) нас к чему-либо* и т.д. В метафорических сочетаниях данной группы человек представлен как *ведомый, уносимый (увозимый)* временем. И время, и человек перемещаются в подобной интерпретации в одном направлении, но человек пассивен по отношению к такому движению. Такая ЯММДВ наиболее полно выражает пассивную позицию человека и активную, ведущую роль времени. Поэтому в художественных текстах посредством этой модели время зачастую олицетворяется в образе *возницы, ямщика* и т.д., которые везут человека (как пассивного пассажира) по жизни. Время в таких метафорических сочетаниях по

своим функциям в чём-то синонимично Судьбе, Року и потому может быть использовано для выражения идей фаталистического характера: *Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка; Ямщик лихой, седое время, Везёт, не слезет с облучка... Катит по-прежнему телега; Под вечер мы привыкли к ней, И дремля, едем до ночлега, А время гонит лошадей* (Пушкин); *Но время торопит, возница беспечный, И просятся кони в полёт* (из песни).

Как уже было сказано выше, время в РЯКМ наделено также способностью не только к перемещению человека, но и к совершению разного рода других действий, которые могут быть проанализированы в рамках нескольких метафорических моделей.

Одну из таких моделей составляют метафорические сочетания, которые отражают *негативные, деструктивные* изменения, происходящие с человеком и приписываемые влиянию времени, например: *Через много лет время стёрло с его [князя] лица печать молодости и печать красоты* (Искандер).

Сопоставление исходного значения (ИЗ) и переносного (результатирующего) значения (РЗ) позволяет реконструировать следующую ситуацию при описании воздействия времени на физическую «оболочку» человека: с рождения человек обладает некими качествами (запас которых ограничен и наличие которых оценивается положительно), а время уничтожает их.

Стереть. ИЗ: Удалить что-л. с поверхности, проводя по ней чем-л.; вытереть. **РЗ:** Уничтожить, изгладить¹.

Такой аспект влияния времени может быть обозначен и с помощью других глаголов: *Смотрю: ёлки-палки, что время делает с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке того молодого, как звон, красавца лётчика, в далёком военном году обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях* (Искандер). В этой интерпретации время так обращается с человеком, что последний, теряя свои положительно оцениваемые говорящим качества, ничего не приобретает взамен либо получает черты, которые могут восприниматься только как негативные. Здесь любопытно отметить, что даже если из всего вышеприведённого контекста вычленим только сочетание *что время делает с нами*, то и тогда становится ясно, что результат такого процесса *отрицателен* для человека как объекта воздействия. Следовательно, в РЯКМ влияние времени на физическую сторону существования человека воспринимается как одностороннее.

¹ Здесь и далее значения слов даются по изд.: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1981.

Однако необходимо учитывать следующий момент: если действовать в сторону улучшения физической оболочки человека время, действительно, не склонно, то в ряде случаев оно может всё-таки быть снисходительно к человеку, что и выражается в отсутствии какого-либо воздействия времени на него: *Время милостиво обошлось с Джолионом, ибо он был Форсайт. Но Ирэн время словно совсем не коснулось, таково было, по крайней мере, его впечатление. Когда она вышла к нему в сером бархатном платье... она показалась ему ничуть не постаревшей* (Голсуорси, перевод Богословской-Бобровой).

В этом метафорическом отражается ситуация, аналогичная той, которая описывается посредством ЛСВ глагола *стереть*: любой «контакт» со временем не несёт ничего хорошего для человека (по крайней мере, для его физической стороны). Кроме того, как видно из приведённой цитаты, время может *милостиво обойтись* с человеком. Однако милость времени в данном случае заключается не в том, что время что-то дало человеку, а в том, что оно всего лишь *не прикоснулось* к нему, ничего не унесло, не уничтожило. Подобная ситуация описывается и в следующем тексте: *Удивление его возросло, когда он увидел, что годы так пощадили её: в тридцать с небольшим лет она казалась если уже не прежней девочкой, то только разве расцветшей... женщиной* (Гончаров).

(Пошадить. ИЗ: Дать пощадку кому-л., не причинить вреда кому-, чему-л. РЗ: Сохранить без изменений, уберечь от разрушения.)

Данное словарное значение уточняет понимание времени в РЯКМ: всё, что время может сделать хорошего для человека, – это не коснуться его, *сохранить его состояние без каких-либо изменений*, так как подавляющее большинство изменений, вносимых временем, пагубно отражаются на человеке как объекте такого воздействия. Вместе с тем такое «обращение» времени с человеком следует считать скорее исключением, нежели правилом, что можно увидеть и в приведённых текстовых фрагментах, так как такое состояние вызывает удивление. Для говорящего гораздо более обыденной является ситуация, когда время всё-таки воздействует на человека, и такое его воздействие несёт только отрицательный результат, например: *Мы думаем, что время идёт только для других, но оно не щадит никого* (Борхес, перевод Дубина).

Непреложность негативного влияния времени на физическую сферу человека обосновывается и в таком фрагменте: *Дойдя до предела нищеты, он оставлял людям всё вверенное ему достояние в целости и сохранности. Лишь плоть его была подвластна времени* (Карпентьер, перевод Косс). Посредством такой метафоры время представляется как

властелин человеческого тела и, следовательно, может поступать с ним по своему усмотрению.

Деструктивная функция времени может выражаться и с помощью таких сочетаний, как, например, *ветер времени*: *Ах, ветер времени злоеущий, / причина множества кручин! / Ты изменяешь форму женщин / и содержание мужчин* (Губерман). Наличие в русском языке такого устойчивого сочетания (*ветер времени*), очевидно, может быть объяснено тем, что главным, определяющим признаком времени в РЯКМ является движение. И сочетание со словом *ветер*, где значение движения также является основным (*Ветер. Движение* потока воздуха в горизонтальном направлении), должно ещё более подчеркнуть это свойство времени.

Однако иногда время метафорически интерпретируется и как существо, бессильное изменить что-либо в человеке (что также воспринимается положительно): *Он давно уже не прочь был [познакомиться с] мадемуазель Флоридор, разглядев во время ночных спектаклей под туникой с узором меандра [фигуру], на которую время так и не смогло наложить свой неизгладимый отпечаток* (Карпентьер, перевод Косс).

Интересно отметить, что неналожение знака, отпечатка временем рассматривается как благо. А если у человека отмечаются какие-то следы времени, то это, в свою очередь, является констатацией несохранения красоты, здоровья и т.д. Хотя необходимо заметить, что в ряде случаев возможно и не столь однозначное осмысление подобного воздействия времени, согласно которому время, забирая физическое здоровье, взамен, в виде своего рода компенсации, усиливает ментальные способности человека. Подобное восприятие воздействия времени проявляется, например, в следующем тексте: *Мне исполнилось недавно сорок лет. Не полагая себя красавцем, я знал, что статно сложен, что черты мои благородны... что на лице моём... нет морщин, хоть голова моя уже седеа – что придавало мне некоторое величие, наводя на мысль об опыте и разумном взгляде на вещи, что связывают, хоть пороку ошибочно, со всеми знаками, налагаемыми на нас временем* (Карпентьер, перевод Тыняновой).

Логическим итогом такого воздействия времени должна явиться смерть, однако как раз «обвинений в летальном исходе» в адрес времени практически не встречается. Очевидно, в основе такой интерпретации времени лежит то, что у смерти в подавляющем большинстве случаев всегда есть какая-либо причина, объясняющая её: болезнь, несчастный случай и т.д. Времени в РЯКМ приписываются такие изменения, которые происходят *постепенно и незаметно*. Среди же окказиональных метафорических сочетаний можно встретить и такие, в которых

причиной умирания, угасания человека является непосредственно время: *Не во тьме мы оставим детей, / когда годы сведут нас на нет; / время светится светом людей, / много лет как покинувших свет* (Губерман).

Кроме того, при интерпретации времени в данном аспекте используются метафоры *согнуть, клонить, гнести*: *Время согнуло её пополам, чёрные когда-то глаза были тусклы и слезились* (Горький).

При такой интерпретации время уподобляется субъекту, который сгибает (часто под своей тяжестью) тело человека, первоначально имевшее распрямлённый вид. И такие метафоры также подчёркивают односторонний и необратимый характер действия времени: сделать, например, человека стройным оно не может. Эти метафорические сочетания перекликаются с метафорами *груз лет, бремя лет* и т.п., согласно которым прожитые годы воспринимаются не как благо, а как тяжкий и обременительный груз, нести который время обрекает человека. Соответственно, такие метафоры могут быть объединены в одном контексте, например: *После освобождения Латвии от фашистской оккупации литературная деятельность Андрея Упита продолжается в Риге. Хотя груз лет и заметно согнул его стройную фигуру, рука его всё так же крепко держит перо* (Григулис).

Вместе с тем, хотя роль человека в ситуациях, когда время его гнёт, клонит и т.п., показывается как достаточно незначительная, люди могут сопротивляться негативному воздействию времени, например: *Несмотря на возраст, он не сдавался своим годам* (Гольдес).

Наличие подобных сочетаний указывает на то, что в РЯКМ отражается постоянная (хотя и не всегда явно выраженная) ситуация противостояния времени и человека. В этой борьбе время в большинстве случаев одерживает верх, постепенно ухудшая здоровье и красоту человека, но, однако, в ряде случаев человек может оказывать сопротивление, и иногда такое сопротивление, приводит к положительным для него результатам, но только на какое-то время, так как исход этой борьбы в целом предопределён заранее. Кроме того, здесь одновременно содержится и положительный оценочный компонент — противодействуя влиянию времени, человек сохраняет те невозстановимые качества, которые время стремится унести или уничтожить.

Нередко, когда говорится о разрушительном влиянии времени, имеется в виду время, неабстрагированное от каких-либо конкретных исторических событий. То есть происходит своего рода метонимический перенос: если в какой-то период времени совершались жестокости и преступления (причём, их «количество» превышало некую норму, конвенционально установленную в РЯКМ), то и это время наделяется каче-

ствами жестокости и преступности: – *А я откуда знаю – прежний ты али нет? Может, надломила тебя жизнь?* (А. Иванов). Эти метафоры отражают понимание времени как субъекта, наделённого весьма отталкивающими качествами и способного очень жестоко обойтись с человеком, который как-либо не соответствует требованиям данного времени.

Необходимо заметить, что такое негативное влияние времени как какой-то исторической эпохи направлено на какие-либо ментальные, моральные и т.п. аспекты человеческой личности, а не на физическую сторону человеческого бытия и «задачей» времени в этих ситуациях является стремление сломить непокорство и приспособить «под себя» (но не уничтожить полностью!). Эта семантика неполной деструкции очень хорошо просматривается, например, в исходном значении глагола *надломить*. **Надломить**. **ИЗ**: Сгибанием, надавливанием сделать трещину в чём-л. (но не отломить, не разломить). **РЗ**: Ослабить, подорвать чем-л. (здоровье, силы и т.д.). Вызвать резкое ослабление душевных и физических сил; надорвать.

Следует отметить и то, что в интерпретации этой метафоры моральная организация человека первоначально представляет собой нечто целостное, а воздействие времени нарушает такую целостность, приводит к появлению трещин и т.д., что, разумеется, не может оцениваться говорящим положительно.

Какие-либо особо неблагоприятные отрезки времени могут сказываться негативно и на физическом состоянии человека, например: *Две ночи, проведённые без сна, в напряжённой работе... окончательно надломили его сильный организм* (Новиков-Прибой).

В данном случае представляется проблематичным определить, какое из значений глагола *источить* явилось исходным для вышеприведённой метафоры, и можно только очертить круг предполагаемых вариативных образов: 1) это какой-то одушевлённый субъект, наделённый способностью грызть, подтачивать и т.п.; 2) некие природные силы, которые своим постоянным многократным действием приводят к порче чего-либо.

Подобная интерпретация проявляется и в таком текстовом фрагменте: *А чуть позже понял я, что самого себя и свою творческую судьбу защищал этот сильно **траченный** эпохой старый человек, так некогда блестяще начинавший, столько обещавший и не смогший* (Губерман). Такое сочетание образовано, очевидно, по существующей в русском языке модели от идиомы <> **Траченный** молью (*устар.*) – испорченный, изъеденный молью (об одежде, материи). Это позволяет ещё более конкретизировать анализируемый метафорический образ времени – оно

может быть уподоблено насекомому с ярко выраженными негативными качествами, которое приносит существенный вред человеку.

В данном случае мы можем говорить о метафорическом образе вариативности «поведения» времени в зависимости от оценки наполняющих время исторических событий: если совершались в какую-либо эпоху преступления, то время предстаёт как преступное, если нет – то оно может наделяться любыми положительными эпитетами вплоть до «золотого» и «благословенного». И если та или иная эпоха может быть жестокой, то она может быть и «хорошей» по отношению к человеку и обществу: – *Палван совсем мягким человеком стал, а? – Это наше время его размягло. При эмире ему уста и топором нельзя было разрубить. Верно, узнал, что комиссия из Бухары приехала, вот и поджал хвост* (Айни, перевод Бородина).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в РЯКМ время может метафорически интерпретироваться как субъект, который производит различные разрушительные, деструктивные действия по отношению к человеку. Воздействие времени, как некой безграничной категории, абстрагированной от какой-либо исторической эпохи, на физическую сторону человека (его здоровье, красоту и т.д.) осмысливается как однозначно отрицательное, а отсутствие такого воздействия – положительно. Но вместе с тем для РЯКМ не характерна интерпретация времени как непосредственной причины смерти человека.

Воздействие времени как какой-либо исторической эпохи понимается как не столь однозначное, но также по преимуществу негативное. Такое влияние может оцениваться и отрицательно, и положительно в зависимости от общепринятой коллективной оценки той или иной эпохи.

Следует отметить, что ход времени в целом воспринимается носителями РЯКМ достаточно нейтрально, а отсутствие движения времени оценивается как ситуация в высшей степени аномальная. Анализ же метафорических сочетаний, отражающих деструктивный характер воздействия времени, позволяет говорить о том, что в РЯКМ время, кроме всего прочего, воспринимается и как некое неумолимое, безразличное к человеку существо, высшая сила, которая наделена абсолютной властью для разрушения и уничтожения всего сущего. Сопrotивление же таким действиям времени оценивается говорящим сугубо положительно.

Время метафорически может быть представлено и в роли субъекта, диктующего человеку правила его поведения, регламентирующего те или иные аспекты в жизни человека и общества, и т.д. Многие поступки человека в РЯКМ могут быть представлены как санкционированные, разрешенные временем, и даже причины своих решений человек может объяснять позволением или, наоборот, запретом их временем, напри-

мер: — *А [вступить в] кумхоз, что поделаешь, время заставило* (Искандер).

В такой интерпретации время предстаёт как субъект, наделённый властью, и его решения являются определяющими для человека. Это время конкретной исторической эпохи, предполагающей свои нормы поведения (в широком смысле) и предъявляющей определённые требования к человеку, который в идеале должен им соответствовать. В противном случае человек по каким-либо своим качествам оценивается негативно. Впрочем, ещё более отрицательную характеристику вызывает стремление кого-либо *приспособиться* к таким требованиям: *Подлаживается под требования времени* (Айни, перевод Бородина); *Он прожжённый политик и ловко применяется к требованиям времени* (Карпентьер, перевод Лесюка).

Однако время может не только запрещать или требовать что-то от человека, но и способствовать развитию чего-либо: *Неблагодарная эпоха покровительствует исключительно утилитарным познаниям, которые возможно обменять на деньги* (Валери, перевод Кожевниковой).

Кроме того, каждая историческая эпоха предполагает какие-то свои критерии во всех сферах жизнедеятельности человека. Например: *А разве не бывало так, что [Жюль Верн] сам превращался в своего героя, рассказывая читателям... необыкновенное о невиданном, насыщая их новыми знаниями, которые всегда были на уровне времени?* (Казанцев).

Также время в РЯКМ обладает способностью побуждать человека к какой-либо деятельности и руководить его действиями: *Настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире* (Земсков). В этом фрагменте отражается способ такого влияния на людей — время метафорически наделяется способностью к речи, побуждающей человека к ряду определённых действий. Способность человека воспринять подобное веление времени оценивается положительно, как и всякое действие, совершаемое с ориентацией на ход времени, например: *Идти в ногу со временем; Не отставать от своего времени* и т.п.

Неумение же человека уловить веяния времени может также служить основанием для его оценки, но уже оценки негативного характера: *Её не коснулось дыхание современности. Она не поняла и не оценила достоинств новой жизни* (Зоценко). Таким образом, можно предположить, что время в РЯКМ наделено в том числе способностью дышать, и человек должен уметь услышать, почувствовать это дыхание, чтобы в дальнейшем ориентировать свои действия в верном направлении. Однако, как следует из приведённого метафорического сочетания, роль человека здесь может представляться пассивной. Вместе с тем очевидно, что

от него требуется какая-то определённая готовность к тому, чтобы *дыхание современности* его всё-таки *коснулось*. Здесь показывается, что веления эпохи не всегда выражаются в столь категоричной форме. Нередко они могут доходить до человека как рекомендации, подразумевающие вариативный характер их исполнения. Например, это касается способности понимать, видеть *нужды* времени. Время не требует этого от человека в императивном порядке, однако такая способность оценивается сугубо положительно. Человек здесь предстаёт как бы союзником времени, а содействие времени практически всегда в РЯКМ воспринимается как нечто позитивное: *Свои открытия он подчинял нуждам времени. Так, например, он обратил внимание на необходимость изучения вечной мерзлоты, что имело огромное значение в годы постройки железной дороги в Сибири* (С. Марков).

Историческая эпоха может также выбирать людей, которые более всего подходят для осуществления насущных целей и требований времени. Причём, как это видно из нижеследующего сочетания, такие критерии могут быть и не всегда положительно оцениваемы говорящим: *Председатель колхоза, звали его Тимур Жванба, был человек из того всероссийского типа яростных недоучек, которых тогда обильно вытягивал из толпы магнит времени* (Искандер); *Время селекцию проводит* (Тимм). То есть здесь метафорически обозначен образ целенаправленной работы времени по отбору людей той или иной исторической эпохой. Выбор времени может быть и ошибочным, когда человек, первоначально соответствовавший требованиям времени, в дальнейшем по каким-либо причинам теряет такие качества: *Жестокость времени непорочно изуродовала и огромный поэтический дар Ярослава Смелякова... Смеляков не стал выразителем времени, а лишь пассивным его атрибутом* (Самойлов).

Соответственно, каждый определённый отрезок времени, проживаемый человеком, вынуждает человека приспособливаться к ритму такого отрезка, выполнять его требования, что также позволяет отнести метафоры с подобной семантикой к императивной модели метафор времени (такие выводы подтверждаются и словарными значениями метафорических характеристик времени): *Андрей чувствовал, что наступивший день взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют* (Пелевин).

Подобное право распоряжаться поступками человека может быть обосновано ещё и тем, что в РЯКМ время как определённая историческая эпоха может пониматься как своего рода хозяин человека: *Жюль Верн и Паганель принадлежат девятнадцатому веку, веку великих путешественников и исчезающих белых пятен, веку колониальных импе-*

рий и гнева угнетённых... (Казанцев). Такое понимание времени помогает объяснить и метафорическое сочетание *дань времени*: **Дань**. **ИЗ**: Подать с населения в древней Руси и некоторых других странах, взимавшаяся князем, военачальником или победителем с побеждённого племени, народа. **РЗ**: Необходимая или невольная уступка чему-л.

Время выступает в этой интерпретации повелителем, властелином, и человек должен совершать свои поступки с оглядкой на него, выполнять какие-либо обязательства перед временем. К подобной группе метафор относятся и сочетания со словами *долг, ответственность*, например: *Это наша дань прошлому, это долг перед будущим* (Поляков).

Интересно отметить, что в отличие от отношений человека с прошлым или настоящим, которые зачастую строятся как отношения хозяина, господина (время) и подчинённого (человек, общество), взаимодействие с будущим предполагает иную модальность. Здесь не время заставляет человека, предписывает ему что-либо, а он сам берёт на себя добровольные обязательства перед будущим. И, соответственно, стимулы к выполнению таких обязательств своего рода морального, нравственного характера: например, человек опасается, что его неверное поведение может вызвать упреки со стороны будущего.

Но не только какая-то конкретная историческая эпоха может выступать в роли субъекта, предопределяющего действия человека. Время как безграничная категория также может явиться некоей силой, с которой человек вынужден считаться, и, например, при прогнозировании дальнейшего развития каких-либо событий говорящий нередко апеллирует ко времени как к субъекту, явлению, от которого единственно зависит разрешение проблемы: *Ещё очень многое не достигнуто, но всё это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдёт наука* (Вересаев); *Иди отдыхай, сколько время позволит. Завтра придётся ещё труднее* (Толкиен, перевод Муравьёва).

Кроме того, корректировать поведение человека в РЯКМ призваны и *лета* (в значении: «возраст»): *Лета к суровой прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят* (Пушкин). Эти метафорические сочетания актуализируют следующий момент: по достижении определённого возраста человек должен следовать каким-то канонам в различных областях жизнедеятельности. Например, в зрелом возрасте полагается писать не стихи, а прозу и т.п. В таких метафорических контекстах время вновь предстаёт в виде сурового хозяина, который указывает человеку, что тому должно делать. Причём даже побуждение к ментальной деятельности метафорически передаётся через образ физического воздействия: **Клонить**. **ИЗ**: Нагибать верхнюю часть чего-л., придавать чему-л. наклонное положение; наклонять. **РЗ**: Склонять, predisposing, влечь.

Однако человек может не следовать каким-либо предписаниям возраста, и тогда возникает ситуация несоответствия, которая метафорически может быть интерпретирована как бессилие, неспособность времени определить должное поведение (в широком смысле) человека: *Ни лета, ни опытность, ни долгая замужняя жизнь не в силах были излечить её от склонности к романтизму и поэтическим грёзам* (Григорович).

Анализ метафорических сочетаний, приведённых в этом разделе, показывает, что у каждой исторической эпохи существуют свои требования, предъявляемые ею к человеку. Такие требования могут носить как императивный, так и рекомендательный характер. Кроме того, человек должен иметь способность уловить требования и пожелания времени, которые могут быть выражены временем различными способами, и находиться на уровне этих требований. В противном случае его поведение, образ жизни оцениваются отрицательно. Но и время в значении возраста вправе устанавливать какие-либо критерии поведения человека в самых разных областях его жизнедеятельности.

Время в РЯКМ метафорически наделяется способностью побуждать человека к действию, причём для этой цели используется лексика с самым разным исходным значением. Согласно таким метафорам, время *может не ждать, не терпеть, подпирать, поджигать* и т.д.: – *Не знаю, что с ним [стало] потом, – время не ждало, надо было ехать* (Сергеев-Ценский); *Идёмте в дом, время не терпит* (Акунин). В обоих текстовых фрагментах время уподобляется субъекту, который имеет предварительную договорённость с человеком о встрече, и для человека представляется максимально важным уложиться в отпущенные ему сроки ожидания его временем. Но даже в том случае, когда торопиться в выполнении какого-либо действия необязательно, всё равно говорящий нередко апеллирует ко времени, например: *Не спеши так – время терпит*.

В РЯКМ время может быть метафорически представлено и в роли пассивного объекта воздействия, с которым человек способен производить разного рода манипуляции. Следует отметить, что такая интерпретация категории времени менее характерна для РЯКМ, нежели понимание времени как активного субъекта действия.

Метафорически в качестве объекта воздействия время прежде всего уподобляется чему-либо ценному для человека. Поскольку универсальной единицей при оценке материального достатка являются деньги, то в такой интерпретации время характеризуется при помощи метафор, в своём исходном значении относящимся к сфере распоряжения материальными ценностями.

Дж. Лакофф и М. Джонсон обосновывают такое уподобление времени (на материале английского языка) следующим образом: «В нашей культурной среде время особенно ценится. Его ресурсы для нас ограничены. Поскольку в современной западной культуре понятие труда обычно связывается со временем, затрачиваемым на его выполнение, а время подлежит точному количественному измерению, труд людей обычно оплачивается согласно затраченному времени – по часам, неделям или годам. В нашей культуре метафора ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ проявляется весьма многообразно... В истории человечества эти общественные установления относительно новы и существуют далеко не во всех культурах. Возникшие в современных индустриальных обществах, они глубоко пронизывают нашу повседневную деятельность» [Лакофф Дж., Джонсон М., 1990. С. 389].

Представляется возможным выделить несколько групп количественных метафор времени на основании исходных значений веществ, которые легли в основу метафорического переноса (предварительно оговорившись, что зачастую чёткую границу между ними провести затруднительно). В такой интерпретации время может быть уподоблено

– деньгам, материальным ценностям: *Хандра крадёт у нас радость, энергию и время* (Максимова); *Мы даём прогноз сжатия льдов... Это экономит массу времени, что для Арктики очень важно* (Голованов);

– ограниченным запасам жидкости, которые либо расходуются человеком, либо уменьшаются сами по себе: *Истекал двухсотый год новой эры* (Куприн); *Времени у нас нет... мы его исчерпали* (Хейли, перевод Обухова);

– тающим веществам: *Три недели остались и таяли с каждым часом* (Ратушинская); *Но стройке подходит срок, время тает*, как воск (Ажаев) (при такой интерпретации «растаявшее» время понимается как полностью исчезнувшее, в отличие от исходного образа, когда вещество переходит в иную форму существования, а не исчезает бесследно);

– пище, чему-то съедобному: *Он [телевизор] жрёт много времени, отнимает силы, нервы, а пользы почти что ноль* (Песков) (эта метафора, несомненно имеет окказиональный характер, однако образована она в рамках языковой модели: время уподобляется ограниченному количеству чего-либо ценного для человека и это что-либо неизбежно сокращается и в конечном итоге исчезает полностью);

– полотну, ткани: *Да и захочет вспомнить – времени выкроить не сможет: у него миллион дел* (Амаду, перевод Богдановского) (данная КММВ отличается от прочих тем, что согласно такой трактовке времени человек сам распоряжается запасами своего времени и по своему усмотрению может отрезать (или не отрезать) «лоскуты» времени).

Общим признаком для всех количественных метафорических моделей времени (КММВ) является то, что наличие большого "количества" времени воспринимается положительно, а малого – отрицательно. Кроме того, в русском языке возможна и констатация *полного отсутствия времени* (например: *Времени у нас нет*). Однако здесь следует оговориться, что такое "отсутствие" относительно: подобные выражения объясняются тем, что в языковом сознании человека заложено чувство того, что на любое действие отведено какое-то "количество" времени. И, таким образом, выражение *нет времени* означает лишь то, что на выполнение чего-либо субъект действия не располагает необходимыми ему для этого временными ресурсами.

Чаще всего негативно оценивается и *убывание* времени, его *рас трата*, например: *Время растратить жалко, его не вернёшь* (В.Д. Иванов). Образ же прибывания времени может быть использован только при сопоставлении каких-либо однородных отрезков времени, например: *Сегодня самый короткий день... Солнцеворот. Дни будут прибывать* (Вишневский). При описании других ситуаций такое выражение употреблено быть не может. Здесь несомненна переключка с динамическими моделями движения времени, где одним из обязательных свойств такого движения является его однонаправленность. Соответственно, и в КММВ движение, как важнейший атрибут категории времени, "диктует" свои законы: "количество" времени, его "запас", отведённые на выполнение любого действия, всегда ограничены. А так как время движется, течёт, то и его количество не может ни оставаться постоянным, ни увеличиваться.

Кроме того, запасы времени, которыми располагает человек, могут "тратиться" по-разному.

- Время расходуется "само по себе", независимо от человека: *время уходит на что-либо, время истекло* и т.п. Например: *Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем* (Искандер); *...А наше время истекло* (Дягилева).

- Время тратится непосредственно самим человеком, как субъектом действия: *тратить время, терять время, ухлопать время, дать кому-либо время на что-то, найти время, выиграть время, уделить время, исчерпать время, выкроить время, упустить время, выбрать время* и т.п. Например: *А о старике дикаре сколько ты думал, сколько времени на него ухлопал!* (Амирэзжиби); *Дай ей время, пусть подрастёт немного* (Авраменко).

- Время даётся или забирается кем-то или чем-то (в том числе и некими "вышними силами") у человека: *воровать время, красть время, нам отпущено (даровано) столько-то времени, если мы получим это*

время, это займёт столько-то нашего времени и т.п. Например: *Королёв совершенно не умел отдыхать... Когда у нас появились машины, и я со своей возился, Королёв приходил в ярость: машина воровала время* (Голованов).

С точки зрения построения метафорических конструкций КММВ являются продуктивными типами образования метафор. Если время уподобляется, например, деньгам, то и многие характеристики, относящиеся к исходному значению, применимы и ко времени. Исключение здесь составляют те образы, которые вступают в противоречие с самой природой времени в её понимании человеком, например: *время может тратиться, расходоваться, но не может накапливаться* и т.д.

Если КММВ являются продуктивным и относительно распространённым классом метафор в РЯКМ, то остальные метафорические модели, в которых время интерпретируется как пассивный объект воздействия, представляют собой достаточно периферийное явление, так как, во-первых, число этих метафор ограничено и, во-вторых, они не продуктивны.

Первая группа подобных метафорических сочетаний включает в себя слова со значением умерщвления (*убить, отравить*): *Две недели были убиты* главным образом на всякое устройство – на устройство жилья, поиски переводчиков, машин, шофёров, на восстановление телефона, водопровода (Симонов); *Отравлены его последние мгновенья* Коварным шёпотом насмешливых невежд (Лермонтов).

Время (и отрезки времени) здесь уподобляется живому существу, а человек выступает в качестве убийцы. Эти метафоры объединены в одну группу на основании сходства их исходных значений, однако переносные значения этих слов различны. Например, метафора *убить время* употребляется в двух значениях: 1) «израсходовать, истратить нерасчётливо, неразумно, расточительно или не на то, что следует; напрасно, бесполезно растратить» и 2) «заняться чем-л. случайным, ненужным, стараясь заполнить время; заняться каким-л. случайным делом для того, чтобы время прошло быстро, незаметно». Если первое из этих значений тесно коррелирует с КММВ (*потратить, израсходовать время*), то второе сугубо специфично и может быть выражено только при помощи данного метафорического сочетания (*убить время*). Сочетание *отравить какое-то время* употребляется для выражения значения «лишить радости, сделать неприятным». В этом же значении выступает метафора *испортить какое-либо время*, однако время в данной ситуации уподобляется неодушевлённому объекту: *Михно своим безобразным поведением испортил ему все выходные дни* (Чернов). Метафоры *отравить* и *испортить* объединяются также на основании того, что в такой интер-

претации время является собственностью кого-либо и какое-то третье лицо наделяется способностью либо умерщвлять его, либо приводить в негодное состояние, нанося тем самым вред «владельцу» времени.

Во вторую группу метафор входят сочетания *ловить момент, захватить какое-то время, прихватить сколько-то времени*: *Час упоенья Лови, лови! Младые лета Отдай любви* (Пушкин); *Возил он [рожь] весь день с Марфой и прихватил ночь* (Л. Толстой); *А наша дама проживала как раз до этого факта. Так что она, естественно, расстраивалась, что не захватила эту будущую эпоху с более крупным камнем* (Зощенко). Здесь также при сходстве ситуаций, описываемых исходными значениями этих слов, обозначаются различные результирующие ситуации. Если исходным значением этих метафор будет «схватить что-либо», то переносные значения служат для выражения отличных друг от друга смыслов: «стараться не упустить что-л., воспользоваться чем-л. быстро исчезающим, проходящим» (ловить); «застать, застичь» (захватить); «взять, захватить, использовать и т.п. в дополнение к чему-л., прибавить к чему-л.» (прихватить). Отрезки времени, с которыми производятся манипуляции, не являются чьей-то собственностью, в отличие от метафор первой группы, и такие процедуры, совершаемые со временем, не наносят ущерба какому-то третьему лицу. Наоборот, ситуации, когда человек получает возможность завладеть каким-то отрезком времени, оцениваются положительно или нейтрально, что видно из приведённых контекстов.

Третью группу метафор составляют слова со значением пространственной манипуляции со временем как с объектом: *приближать, отдалять, отодвигать, оттягивать, перенести*. К этому же разряду на основании сходства результирующих значений представляется возможным отнести и слова со значением изменения интенсивности движения времени: *замедлять и ускорять*. Посредством этих метафор прежде всего именуется так называемый психологический аспект восприятия времени, когда положительно оцениваемые события и отрезки времени ожидаются с нетерпением, а негативные, наоборот, интерпретируются как такие, приближение которых можно замедлить: *Этот день мы приближали, как могли* (из песни); *И он придёт – победы нашей час! Приблизь, добудь его в сражение* (Светлов); *Отец хотел оттянуть подальше время отъезда* (Аксаков). Кроме того, изменения в планах на будущее также метафорически уподобляются перемещению в физическом пространстве: *Час наступления отодвинут почему-то до половины шестого утра* (Сергеев-Ценский); *Время начала занятий было перенесено на другую неделю* (Чернов).

К этой же группе могут быть отнесены метафорические сочетания временных обозначений с глаголом *влачить*: *Всегда гоним, теперь в изгнание Влачу закованные дни* (Пушкин). В таких сочетаниях время характеризуется как фактор, неблагоприятный человеку, что выражается уподоблением временных отрезков некоему грузу, который человек вынужден с усилием *влачить* или *тащить*. Человек здесь метафорически представлен как субъект, который, перемещаясь, тянет за собой груз (время), что и обуславливает негативную окрашенность описываемого отрезка времени. Сравните также выражения: *бремя лет, груз лет, обременённый годами* и т.п. К этой группе метафор примыкает и сочетание *провести (как-либо) время*, которое практически утратило свою метафоричность, и эта метафора может быть охарактеризована как генетическая, или "мёртвая". Посредством этой метафоры человек представляется как активный субъект, ведущий за собой время, уподобленное какому-либо физическому объекту, пассивному по отношению к человеку. В оценочном плане это выражение является нейтральным и может сочетаться с наречиями *хорошо, плохо* и т.д. Среди характерных особенностей метафорических сочетаний данной подгруппы, очевидно, следует выделить слабую актуализированность аспекта **направленности** движения, в отличие от всех прочих ЯММДВ. Кроме того, необходимо отметить, что такой тип взаимоотношений человека и времени является слабоактуализированным в РЯКМ.

Немногочисленность метафор со значением объектного манипулирования временем показывает, что во взаимоотношениях времени и человека в РЯКМ наблюдается несомненная асимметрия: если сценарии, в которых время выступает как активный субъект по отношению к человеку, обозначаются целым рядом продуктивных метафорических моделей, то обратная ситуация выражается (за исключением количественных метафорических моделей времени) всего несколькими метафорическими сочетаниями преимущественно непродуктивного типа.

ЛИТЕРАТУРА

- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём // Теория метафоры: Сб. / Под общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журиной. М., 1990. С. 387–416.
Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. М.: Рус. яз., 1981.

Н.Л. Новокшенова
МЕТАФОРЫ СВЕТА И ОГНЯ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖИЗНИ

Каждая культура формирует свою особую модель мира, которая создается на основе универсальных категорий человеческого сознания. "Человек живет в контексте культуры. Она является для него "второй реальностью". Он создал ее, и она стала для него объектом познания. Природа познается извне, культура – изнутри. Ее познание рефлексивно. Чтобы в нем разобраться, нужно проанализировать метаязык культуры, и прежде всего ее ключевые термины, такие, как "истина" и "творчество", "дом" и "судьба", "добро" и "зло"... Эти понятия существуют в любом языке и актуальны для каждого человека" [Логический анализ языка. 1991. С. 3]. К числу таких ключевых терминов, или концептов, можно с полным правом отнести концепт «жизнь», отражающий пространственно-временные рамки существования человека.

Один из распространенных приемов изучения культурно значимых концептов – исследование относящихся к ним метафор. Достаточно полное истолкование абстрактных понятий через метафорические переносы возможно потому, что метафора антропоцентрична по своей природе. Как прием вторичной номинации метафора фиксирует значимые для человека вещи и в то же время выражает оценочное отношение к различным аспектам именуемого.

В своей работе мы исходим из следующих теоретических положений:

1. В языке существуют некие объединения метафор, организованные по принципу поля, ядро которого являет базисная метафора, близкую к ядру сферу составляют языковые метафоры, периферию составляют окказиональные метафоры, организованные по тем же закономерностям.

2. Базисные метафоры, являясь в большинстве надэтническими, имеющие основание в единстве мифа, задают модели метафорического уподобления, определяют возможные векторы развития, диапазон варьирования, проявляющегося в сети узуальных и окказиональных мета-

фор. Диапазон метафорического развития весьма широк, ассоциативное поле задается системой фреймов, в которые потенциально включается имя базисной метафоры.

Таким образом, базисные метафоры объединяют поле языковых и речевых метафор на основании тесных, прежде всего метонимических, связей объекта, фиксируемых относительными компонентами в составе метафоризирующего значения [Метафорический фрагмент, 2003].

Человек в своем развитии шел от мифологического восприятия действительности к историческому. Это движение от материального к абстрактному отразилось в метафоре как способе представления нематериального посредством мира физического. Это свойство метафоры отражает общий принцип познания мира человеком и в метафорических наименованиях жизни.

В русской языковой картине мира жизнь человека представлена множеством метафорических моделей: пути, дороги (*шествовать по жизни, перекресток жизни*); книги (*главы жизни, страницы жизни*); денег (*тратить жизнь, разменивать жизнь, цена жизни*); циклической моделью жизни, представляющей периоды жизни человека в терминах суточного и годового циклов (*утро жизни, зенит жизни, закат жизни*) и многими другими.

В данной работе рассматривается метафорическая модель, представляющая жизнь человека в образах *света и огня*. Эта модель возникает в результате регулярного метафорического переноса из семантической сферы физического мира в область абстрактного. Источником метафоризации послужило противопоставление дня и ночи, света и тьмы, а также отождествление ночи и темноты со смертью, а дня и света с жизнью. "Свет и тьма, день и ночь в мифологической модели мира одно из основных противопоставлений..., соотносящееся с главными элементами мироздания (стихиями) – небом, огнем (солнцем) и водной стихией, преисподней, луной и т.д., в конечном счете с добром и злом..." [БЭС. Мифология, 1998. С. 669]. "В фольклорно-мифологических представлениях рождение ребенка отождествляется с переходом из одного мира в другой, из иного в этот, наш, что характеризуется сменой пространственно-временных параметров. Ограниченное, закрытое, тесное, узкое, темное = "ночное" пространство иного мира сменяется неограниченным, открытым, свободным, широким, светлым = "дневным" пространством этого мира [Цивьян Т.В., 1990. С. 78].

Эти представления, возникнув в мифологическом сознании, отразились и закрепились в языке в виде достаточно заполненного метафорического поля.

Анализируя метафорические сочетания, мы не обнаружили метафор, прямо называющих жизнь днем. Но такое понимание жизни вытекает из противопоставления дня и ночи, жизни и смерти: "Надо быть слепым, чтобы не видеть, как сейчас весь земной шар раскололся на два гигантских, но не равных полушария: на одном *ночь, мрак* и запустение и мертвое слово – *смерть*, на другом – *жизнь*, работа и творчество" (Киров. «Статьи и речи»); "Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она и там все счастье, надежда, *свет*, другая половина – все, где ее нет, там все уныние и *темнота...*" (Л. Толстой. "Война и мир"), или "Коротка наша жизнь, но бегут друг за другом года, Яркий *свет* разменяем на вечную *тьмень*. Умирает лишь раз человек навсегда, Много раз человек умирает на время" (А. Розенбаум).

Развитием этой же метафорической модели послужила авторская метафора В. Набокова: "...жизнь – только *щель слабого света* между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненной нам свойственно всматриваться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час" (В. Набоков. "Другие берега").

Нужно отметить, что в циклической модели жизни день не противопоставляется ночи. Жизнь в этой модели представляется как вечное вращение по кругу, бесконечное повторение одних и тех же событий. День и ночь в этой модели – закономерно и естественно наступающие друг за другом периоды жизни человека, и рассматривать их нужно в ряду: утро, день, вечер, ночь, где дню соответствует период зрелости человека, а ночи – смерть. "Циклическое сознание" настроено на типизацию, в нем жизнь каждого индивидуального человека ничем не отличается от жизни других людей. В терминах цикла говорят о жизни биологического человека, а не социального. Метафоры света, рассматриваемые в данной работе, интерпретируют жизнь как день, свет именно в их противопоставленности ночи и темноте и актуализируют иные аспекты, а именно: устойчивые, однозначные ассоциации света как атрибута дня с радостью, любовью, счастьем. Так как эмоции и чувства всегда индивидуальны, метафоры света характеризуют жизнь человека в социальном плане, а точнее, в духовно-нравственном. Следовательно, перед нами омонимия метафорических образов, относящихся к разным метафорическим моделям.

Рассмотрим, каким образом развивается метафорическая модель, в основе которой лежит архетипическое противопоставление света и тьмы, дня и ночи. Метафоры этой группы организуются в метафорическое поле, центром которого является базисная метафора *жизнь – это*

день, и возникают, главным образом, за счет метонимических переносов.

При анализе метафорических сочетаний выделились следующие группы:

1. **Жизнь как некая субстанция, обеспечивающая существование человека:** «...в тот же шестой день, в тот же первый час, ...угас чистый свет Ее жизни...» (И. Бунин). Свет в такой интерпретации наполняет тело человека и отождествляется с душой, духовным началом. Пока свет горит в человеке, он живет. Отсутствие света означает смерть.

2. **Жизнь как нечто, освещенное солнцем или другим источником света.** В этом случае жизнь может быть *солнечной* – ИЗ: "освещенный или освещаемый солнцем", РЗ: "радостный, светлый, счастливый" либо *пасмурной*: "Так пасмурна жизнь наша..." (Лермонтов). Освещенной может быть не вся жизнь, а какая-нибудь ее сторона: "Но как ни хочется поскорее вылезти из *черного* уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на *солнечную сторону* жизни Николая Гавриловича, все же я еще немного тут потопчусь" (В. Набоков. "Дар").

Жизнь может быть *светлой*: "Быстро идет к нам новая, *светлая жизнь*" (Н. Чернышевский. "Что делать?"). ИЗ *светлый*: "хорошо освещенный, наполненный светом", РЗ: "радостный, ничем не омраченный". Однообразная, пустая жизнь предстает в *сером* свете, *без светлых проблесков*: "Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь померклое окно, напоминает мне *серый* круг: *серый* цвет и никаких оттенков, *никаких светлых проблесков*..."

Но закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там *светлее*..." (Чехов. "Драма на охоте"). Свет в данном случае ассоциируется с жизнью, наполненной радостью и любовью, разочарованиями и потерями.

Базисная метафора также может развиваться за счет метафор, обозначающих действия: *озарить жизнь*: "А вы боялись, что не будет другого праздника в жизни, что этот бледный луч *озарит жизнь* и потом будет вечная *ночь*" (И. Гончаров. "Обломов"). ИЗ *озарить*: "осветить", РЗ: "наполнить счастьем, радостью, пронизать чувством, настроением". В качестве источника света, озаряющего жизнь, в этом отрывке метафорически переосмысливается чувство героини к Обломову, принятое ею за любовь.

Изменение освещения влечет за собой изменение в восприятии жизни: "Ему (князю Андрею) и в голову не приходило, чтобы он был влюблен в Ростову, он не думал о ней, он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете"

(Л. Толстой. "Война и мир"). Таким образом, источником света, изменяющим жизнь, может быть внутреннее состояние человека.

Метафорическая модель может наполняться за счет авторских метафор, например, – *призмы жизни* у В. Набокова: "То, что случилось в эту ночь, то восхитительное состояние души, *переставило световые призмы всей его жизни*, опрокинуло на него прошлое". Из слова *призма*: "предмет... из прозрачного вещества, служащий для разложения сложного света в спектр, для изменения направления световых лучей", поэтому метафорическое сочетание *переставить световые призмы жизни* можно истолковать как изменение взгляда на жизнь и соответственно – отношения к прошлому. По-настоящему важные для героя события прошлого в образной системе произведения оказываются *озаренными* памятью, они противопоставляются настоящей жизни героя, которая определяется им как «жизнь ...берлинской тени». Таким образом, восприятие жизни, а через него и сама жизнь может резко меняться при изменении освещения, так как метафоры света ассоциативно связаны с основным способом восприятия мира человеком – визуальным.

Источником света, освещающим жизнь, может быть какой-то человек: "Лолита, *свет моей жизни*, огонь моих чресел" (В. Набоков. "Лолита"). Устойчивое сочетание *свет жизни* употребляют, когда говорят о дорогом, любимом существе, приносящем счастье и радость. Синонимично ему сочетание *солнце жизни*: "А вот Аннушка – вот это настоящее! ...Она только одна и есть *во всей его жизни* сокровище, *солнце, сияние*" (Г. Успенский. "Кой про что").

Источником света, *озаряющим жизнь*, может быть какое-то важное событие жизни: "Я невеста! – с гордым трепетом думает девушка,ждавшая этого *момента, озаряющего всю ее жизнь*, и вырастает высоко, и с высоты смотрит на ту *темную тропинку*, где вчера шла одиноко и незаметно". (И. Гончаров. "Обломов").

Излучать свет могут положительные эмоции и чувства: *дружба, самопожертвование, радость, любовь*: "...Что жизни б путь нам был ужасен, Когда б не тихой *дружбы свет...*" (А. Пушкин); "Снести тяжесть смерти Одинцовой помогает мне *свет самопожертвования*, которым *озарен и ее конец, и жизнь* каждого из нас" (Б. Пастернак. "Доктор Живаго"); "Непонятно было, отчего так помолодело лицо Анны Суровой, от яркого весеннего солнца или от тайной *радости, наполнившей светом ее жизнь*" (Л. Богданович. "Записки психиатра"). Нужно отметить, что метафоры, представляющие источником света различные чувства и эмоции, относятся к другому метафорическому полю, интерпретирующими чувства и эмоции в образах природных стихий: света, огня, воды,

ветра; и в данном случае мы наблюдаем случаи пересечения или наложения двух метафорических моделей.

3. Жизнь может быть представлена и как неосвещенный объект. Существование метафор, трактующих жизнь таким образом, закономерно, т.к. вся метафорическая модель строится на противопоставлении дня и ночи, света и тьмы. Жизнь в такой интерпретации может быть *темной*: «Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была *темна* и загадочна» (И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»). Из *темный*: "лишенный света, освещения, со слабым, скудным светом", РЗ: "мрачный, безрадостный".

Черная жизнь: «Тебе открыть мне было б больно, Как *жизнь* моя пуста, *черна...*» (М. Лермонтов). Из *черный*: "темный, полностью лишенный света", РЗ: "мрачный, безрадостный, тяжелый, связанный с трудностями, невзгодами". Черными могут быть какие-то периоды жизни: «*Черные месяцы* Женькиной *жизни* понемногу забывались» (Б. Полевой. «Горячий цех»).

Для человека естественным является то, что темные, тяжелые периоды жизни сменяются светлыми, счастливыми, и в этом случае надежда на выход из тяжелых обстоятельств также ассоциируется со светом: "Все вы молоды, здоровы, у вас есть надежда, а у меня впереди нет просвета". Из *просвет*: "светлые полосы, пятно, слабый луч света в неосвещенном пространстве, на темном фоне", РЗ: "облегчение, выход из тяжелых обстоятельств".

Мрачная, тяжелая жизнь без надежды на изменение метафорически представляется как *беспросветная жизнь* – Из: "без просвета, совершенно темная", РЗ: "очень мрачная, без надежды на что-либо лучшее".

Изменить жизнь, *вернуть ее в темноту* может какое-то событие или поступок: «Но было тогда что-то ужасное, преступное..., связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не *вернула его жизнь в темноту...*» (Ю. Бондарев. «Берег»).

Жизнь человека изменяется, когда на нее *ложится тень*: «...и рад-радехонек был, если не обливалось оно (сердце) кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не *ложилась надолго длинная тень на его жизнь*» (И. Гончаров. «Обломов»). Из слова *тень*: "темное отражение на чем-либо, отбрасываемое предметом, освещенным с противоположной стороны", РЗ: состояние беспокойства, печали, уныния. Источником такого состояния для человека может быть какое-то внешнее событие, огорчившее его: «Смерть тетки вызвала горькие, искренние слезы Ольги и легла тенью на ее жизнь на какие-нибудь полгода» (И. Гончаров. «Обломов»).

Итак, жизнь в этой метафорической модели ассоциируется с днем, естественным атрибутом которого является солнечный свет. Свет – это необходимое условие существования всего живого, а в нашей модели – источник радости, любви и счастья в жизни человека. Отсутствие света, мрак, темнота ассоциируется с тоской, унынием, печалью. В терминах света чаще говорят о духовной, нравственной жизни человека.

4. Жизнь как нечто, способное гореть, излучать свет и тепло. Метафоры огня, горения относятся к другой метафорической модели, а рассмотрение их в рамках одной статьи с метафорами света обусловлено наличием общего семантического компонента в ИЗ.

В метафорической модели жизни как огня, горения человек интерпретируется как некий сосуд, наполненный особой субстанцией – жизнью, способной гореть, обеспечивая тем самым полноту проявления жизненных сил.

Так как процесс горения предполагает следующие этапы: разжигание (начало), горение (течение процесса), максимальное проявление и угасание, превращение в уголь, пепел (конец процесса), модель жизни-горения наполняется глагольными метафорами, в которых в РЗ актуализируются семы начала, протекания, конца, а также сема интенсивности.

Разным этапам процесса горения соответствуют следующие метафоры: «Помнишь, в парке, когда ты сказал, что в тебе *загорелась жизнь*, уверял, что я – цель твоей жизни» (И. Гончаров. «Обломов»). Метафору *загорелась жизнь* можно проинтерпретировать как начало активной, напряженной внутренней работы и внешнее проявление ее в жизни, наполненной делами и событиями, которой соответствует метафора *жизнь – горение*: «Ах жизнь! – сказал он (Обломов). – Что жизнь? – Трогает, нет покоя!... – То есь погасил бы огонь и остался в темноте! Хороша жизнь! Жизнь мелькнет, как мгновение, а он лег бы да заснул! Пусть она будет постоянным *горением*! (И. Гончаров. «Обломов»). ИЗ *гореть*: «давать свет, пламя», РЗ: «действовать, вести активный образ жизни».

Далее метафорическая модель развивается следующим образом: *жизнь пылает*: «Жизнь в Драйере так и *пылала*. Так действовал на него запах цветущих лип, солнце, игра в теннис, сложный круговорот дел. Кроме того, у него было увлечение...» (В. Набоков. «Король, дама, валет»). ИЗ *пылать*: «гореть ярким пламенем», РЗ: «быть охваченным каким-либо сильным чувством, страстью, деятельностью». Таким образом, в метафоре *жизнь пылала* актуализируется сема интенсивности.

Метафора *жизнь-горение* является в романе В. Набокова текстообразующей и получает дальнейшее развитие в окказиональной, авторской метафоре *тушить жизнь*: «...Драйер перед ней чудовищно разрастался, как пожар. Но оказывалось, что человеческую *жизнь*, как пожар,

тушить опасно и трудно" (В. Набоков. "Король, дама, валет"). Так как ИЗ глагола *тушить*: "прекращать горение чего-либо, гасить", эту метафору можно проинтерпретировать как "уменьшая, ослабляя напор жизненных сил, лишит человека жизни".

Процесс горения, достигнув максимального проявления, постепенно ослабевает, что в рассматриваемой модели отражается следующим образом: *жизнь тлеет*: "Тихонько *тлеет* жизнь моя" (А. Блок). ИЗ *тлеть*: "гореть без пламени, слабо", РЗ: "слабо, еле заметно проявляться"; синонимично ему сочетание *жизнь теплится*: "Жизнь в ней едва *теплится*" (А. Чехов. "Моя жизнь") ИЗ *теплиться*: "Гореть легким, слабым пламенем", РЗ: "слабо, еле заметно проявляться, едва существовать".

Возвращению утраченных жизненных сил в этой образной системе соответствует метафора *жизнь вспыхнула*: "Внезапно пришла зима. И *жизнь* в Аверкии *вспыхнула* еще раз" (И. Бунин. "Худая трава"). ИЗ *вспыхнуть*: "внезапно и быстро воспламениться, загореться", РЗ: "ожить".

Жизнь в образах огня, постепенно подходя к концу, *догорает*: "Догорает *жизнь* угольками в золе" (А. Розенбаум); или *потухает*: "Жизнь этого простого благородного существа так, как текла, тихо и ясно, так и потухла" (Герцен. "Кто виноват?"). ИЗ *потухнуть*: "перестать гореть, светить, погаснуть", РЗ: "прекратиться, закончиться".

Сочетание *жизнь угасла* в следующем контекстном окружении нужно отнести к метафорическому полю с базисной метафорой *жизнь – день, свет*: "Жизнь его *угасла* вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств." (И. Бунин. "Братья"). ИЗ *угаснуть*: "перестать гореть, светить, светиться, погаснуть", РЗ: "слабеть, теряя жизненные силы, перестать жить, умереть". Но и употребление в образной системе жизни как горения, огня этой метафоры также уместно.

Потухший огонь не всегда ассоциируется с физической смертью, отсутствие огня может обозначать потерю жизненных сил или определенный период жизни человека, чаще всего – старость: "Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!" (И.Тургенев. "Дворянское гнездо").

Материальные признаки огня, а именно: способность излучать не только свет, но и тепло – легли в основу следующего метафорического переноса: *жизнь согревает*: "Что бы Ганин ни делал в эти дни, та *жизнь согревала* его неотступно". ИЗ: "сделать теплым или горячим", РЗ: "утешить, ободрить, наполнить светлым, радостным чувством".

Метафоры жизни-горения, употребляясь в одном контексте с метафорами циклической модели, представляющие периоды жизни человека в терминах суточного цикла, выстраивают своеобразный синонимический ряд: "*в жизни моей ведь никогда не загоралось* никакого, ни спасительного, ни разрушительного *огня*. Она не была похожа на *утро*, на которое постепенно падают краски, *огонь*, которое потом превращается в *день*, как у других, и *пылает жарко*, и все кипит, движется в ярком полудне, и потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно *гаснет к вечеру*. Нет, жизнь моя началась с погасания (И. Гончаров. "Обломов").

В этом отрывке метафора *утро*, которому в циклической модели жизни соответствуют детство и юность, соотносится с образом разгорающегося огня, *день* как зрелость человека – с жарко пылающим огнем, *вечер* как старость – с медленно гаснущим пламенем. Следовательно, перед нами синонимия метафорических образов, относящихся к разным моделям уподобления. Синонимия этих метафорических сочетаний обусловлена как актуализацией в РЗ сем начала, протекания и конца, так и употреблением их в рамках одного контекста.

В метафорах огня может актуализироваться еще один аспект: огонь может быть созидающим и разрушительным, поэтому отношение человека к огню всегда было двойственным. С одной стороны, с древних времен огонь был поистине центром того мира, в котором проходила вся жизнь человека, да и после смерти его тело нередко ожидал погребальный костер. В глубочайшей древности огонь отгонял прочь тьму, холод и хищных зверей. Огню приписывалась очищающая и обеззараживающая и вообще добрая, благотворная сила. С другой стороны, человек не всегда мог справиться с неуправляемым, разбушевавшимся огнем, поэтому живому, созидающему огню противопоставлял разрушительный, приносящий вред огонь. Эти представления также отразились в метафорических сочетаниях: "...*жизни* гибельный *пожар*", "ведь *жизнь* уже не *жгла* – чадила", "...*жизнь* пытала, *жгла*, коверкала..." (А. Блок). Жизнь в этом случае ассоциируется с огнем, который может обжечь, принести боль и страдания.

Разрушительные свойства огня актуализируются в следующих сочетаниях: "*жизнь* давно *сожжена* и рассказана" или *прожигать жизнь*: "Под рокот струн, под звон гитары, *Жизнь прожигая*, зря живем" (В. Маковский. "Прощай, мой табор"). ИЗ: "огнем, жаром, чем-л. едким образовать, проделать дыру, отверстие в чем-либо", РЗ: "вести беспорядочный, легкомысленный образ жизни, растрачивать жизнь впустую".

Анализ метафорических сочетаний, проведенный в данной работе, позволяет сделать следующие выводы: метафоры этой группы органи-

зуют метафорическое поле с базисной метафорой **жизнь – это день**. Источником метафоризации служит архетипическое противопоставление дня и ночи, света и тьмы.

ЛИТЕРАТУРА

- БЭС. Мифология. М.: Большая российская энциклопедия, 1998.
Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые концепты.
Ч. 1 / Резанова З.И., Мишанкина Н.А., Катунин Д.А. / Отв. ред. З.И. Резанова. (В печати).
Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука, 1990.

Т.А. Шишкина

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ «ФОРМА» В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ

Интерес русистики, обращенный на рубеже XX–XXI столетия к проблемам хранения и использования информации языковой личностью, национальной специфике языкового сознания, к особенностям этнического миромоделирования, отражаемого языковой системой, обуславливает актуальность изучения экспликации отдельных концептов и их компонентов в различных формах национального языка.

Целью проведенного нами исследования является описание структурной организации концепта, которое было получено в ходе анализа фрагментов концептуальной схемы, представляемых во внутренней форме диалектных наименований, а также особенностей, связанных с отражением различных типов указанного концепта в языке.

Материалом исследования послужили 600 производных (в т.ч. семантические производные) единиц четырех тематических групп – "Орудия", "Растения", "Домашние птицы", "Домашние животные", – взятые сплошной выборкой из "Словаря русских народных говоров", "Толкового словаря живого великорусского языка" В.И. Даля и современных областных словарей.

В научно-теоретических разработках последних десятилетий представлены многочисленные определения концепта (Лихачев, Стернин, Попова, Степанов, Кравченко, Бабушкин, Павиленис и др.). В данной работе концепт рассматривается как определенный ментальный конструкт, отражающий представления, знания, ассоциации, связанные как с этнической культурой, так и с физиологическими особенностями восприятия человеком окружающего мира.

Насколько известно автору, до настоящего времени концепт «форма» объектом исследований являлся лишь фрагментарно. В работах 70 – 90-х годов прошлого века исследовались мотивировочные признаки, номинативные признаки, мотивы, компоненты лексической семантики; и, безусловно, результаты этих исследований проливают свет на отдельные стороны организации концепта «форма».

Организация концепта как основы ментального образования, связанного со звуковой оболочкой слова, во многом зависит от восприятия формы человеком. При восприятии формы номинатор выделяет различные ее параметры (высоту, долготу, глубину, толщину) в зависимости от плоскостного или объемного восприятия предмета, от восприятия предмета вертикальным или горизонтальным, с учетом или без учета фона, форму целого объекта или форму его части, форму объекта при взгляде изнутри или снаружи. Субъект номинации оценивает признак формы как постоянный или непостоянный, определенный или неопределенный, типичный или расходящийся с обыденным, соответствующий или несоответствующий канонической форме объекта, оценивает форму как выпуклую или вогнутую и т.д. Таково восприятие формы, проявляющееся в сочетаемости прилагательных, обозначающих форму объекта, по данным Е.В. Рахилиной [Рахилина Е.В., 2000].

Очевидно, что при экспликации концепта другими языковыми средствами вышеуказанная специфика восприятия формы может проявляться и не проявляться или проявляться ограниченно. Лингвистами неоднократно отмечалось: знания о предметах, их свойствах и отношениях могут выражаться не только в предикативных единицах, но и в словосочетании, в семантике языкового знака, в словообразовательной модели и т.д. [Янценецкая М.Н., 1991. С. 11, 30; Никитин М.В., 1983. С.23; Апресян Ю.Д., 1974. С. 179 и др.].

На основании анализа внутренней формы и семантики номинативной единицы в сопоставлении с реальным признаком именуемого объекта (далее ИО) можно сделать вывод о различии концептуальных типов в зависимости от плоскостного / объемного представления объекта номинатором, независимо или в соединении с ситуацией функционирования.

Основным фактором появления наименований по форме является выделение контура именуемого объекта (ИО) в качестве яркого внешнего признака, наиболее информативного в применении к данному ИО. Природные формы ИО многообразны. В связи с необходимостью обозначать форму предмета в акте коммуникации называющему субъекту необходимо обратиться к предмету, известному участникам коммуникативного акта. Вследствие необходимости обозначения и выражения концепт формы ИО подвергается типизации.

Форма издавна выделялась архетипическим (мифологическим) сознанием индоевропейцев. Типизированные варианты представления формы можно видеть в культуре, мифах, символах, обрядовой атрибутике разных народов, в т.ч. славянских. Мифологическое сознание наших предков характеризовалось известным синкретизмом – восприяти-

эм совокупности признаков без отрыва от их носителя: "...реальные предметы отражаются в сознании в виде целостных явлений. Возникающее таким образом понятие предмета вырастает из чувственного образа, не отрываясь от него окончательно, уходя в него своими корнями" [Яценецкая М.Н., 1991. С. 40].

Возможно, с сохранением элементов мифологического сознания связан тот факт, что для признака формы за редким исключением не существует отдельных звуковых оболочек; часто характеристика ИО по форме совмещается с характеристикой по признаку остроты, а в наименования деталей или частей орудий свидетельствует не только о форме этой детали или части, но и об ее функции [Рахилина Е.В., 2000. С. 152--168].

Так как процесс познания нового у каждого индивида осуществляется на базе уже имеющегося знания и опыта, можно предположить соотношение нового (неизвестного) предмета с контурами уже известного, представление о котором существует в сознании номинатора и закреплено за определенной звуковой оболочкой. В связи с вышесказанным можно предположить, что основным способом представления признака «по форме» является способ опосредованный, относящий ИО к другому предмету, соотносящий ИО с другим предметом по признаку формы.

В проанализированном нами материале выделяется 22 типа концепта, отражающих различные представления о форме ИО. Типы концепта условно обозначены как «КРУГ», «ЛИНИЯ», «ВИЛЫ», «БОЧКА», «РЯБИНКА» и под. Каждый из них своеобразно представляет признак формы и выражается производной единицей (в т.ч. семантически производной) или словосочетанием, в состав которого эта единица входит.

Тип «СТЕРЖЕНЬ, ПАЛКА» отражает восприятие контура предмета (чаще вертикальное) безотносительно расположения в пространстве и форму предмета в сочетании с признаком объема. Наименования, отражающие концепт, представлены метафорически, путем сопоставления с предметом: КУРИК – род кувалды, *березовая чурка* (курик – *палка*); СКАЛКА – *рыболовная снасть* ("...железная лопатка без камла..."); ПАЛКА – *деревянный брусок или круглая палка с ручкой для обмолачивания головок льна*; КОЛБАСКА – *сорт моркови каротель*; БАТОЖКИ – *щавель*; СТОЛБУНЦЫ – *хвощ ча сухих местах*, ПАПИРОСЫ – *комнатный цветок с трубчатым стеблем*. Указанный тип представлен семантическими и суффиксальными производными.

Тип «ДУДКА» отражает восприятие контура предмета, объем в пространстве, наличие "отрицательной части" (А. Херсковец), т.е. части, 'вынутой' от объекта. Наименования представлены метафорически, сопоставлением с предметом: МЕДВЕЖЬЯ ДУДКА – *бузина красная*.

Тип «КОПЬЕ» отражает восприятие формы как стержня с заостренным концом, совмещается с концептами «характер поверхности», «функция». Концепт выражается опосредованно, путем сравнения с предметом, частью тела: СПИЦА – *копье, предназначенное колоть морского зверя*; РОЖНИ – *заостренные сверху тычки, которые ставятся наклонно на заячьих тропах и лазах*; ИГОЛКА – *герань луговая*; САБЕЛЬНИК – *аир (мечевидные листья)*, СТРЕЛА – *вахта*; НОСАТИК – *нож с узким длинным концом*; СТРЕЛИШНИК – *лук, проросший на гряде стеблями, похожими на стрелы*. Тип представлен производными семантическими и суффиксальными на базе семантических.

Тип «КРЕСТ» отражает восприятие формы целого объекта или его части, в некоторых случаях совмещается с концептом «функция». Наименования отражают сравнение с предметом, насекомым, животным, птицей: КРЕСТОВИНА – *кочерга с крестообразно посаженными крючками для прочистки колосников в солеварных печах*; НОЖНИЦЫ – *ловушка на медведя в виде перекрещивающихся бревен*; ПАВУК – *сачок для лова сельди – сетка, подвешенная на крестовине*; КОЗА – *используемый для лущения рыбы переносной крест с насаженным на него очагом*; ПЕТУШОК – *растение с выделяющейся верхней частью*. Тип концепта выражен преимущественно семантическими производными.

Тип «КРУГ, ШАР» отражает восприятие контура именуемого объекта или его части, в отдельных случаях концепт включает признак расположения в пространстве, совмещается с отдельными признаками концепта «функция». Признак формы в наименованиях может быть представлен непосредственно: КРУГЛАЯ СЕТЬ – *рыболовный снаряд, состоящий из нескольких частей, крепящихся на обручах*; КРУГЛЯК – *хвощ болотный*, КРУЖОК – *спиннинг*; ШАР – *ловушка на медведя в виде шара*; а также путем сопоставления с растением, частью тела, предметом: ЖИДОВСКИЕ ЯБЛОКИ – *паслен*; ВОЛЧЬИ КАВУНЫ – *волчьи ягоды*; КЛЮКВА, ЯБЛОКИ, ОРЕШНИЦА и др., ГОЛОВКА – *кочан капусты*; ПУЗАНКИ – *муромские огурцы ("...толстенные...")*, ЖИДОВСКИЕ ЯЙЦА – *паслен*; ДОЖДЕВОЕ ЯЙЦО, МЕЧИК (мячик) – *гриб дождевик*; БАКЛАГА, БАРАНКА – *брюква*; КЛУБНИ – *клубника*; ГЛЫЖА – *морошка (глыжа – засохший ком земли или глины)*; ДОНСКАЯ ЧАША – *куст винограда с лозами, подвешанными в виде круга*; БАЛАБОЛКА – *колокольчик*; ДЕНЕЖНИК – *травка с семенами в виде денежек*; БОМБОЧКА – *желтый луговой цветок (похож на кочан капусты)*; КАЛАЧИК – *герань (по форме створок плода)*. Признак формы может быть совмещен с признаком действия, на которое способен именуемый объект; действие обозначается прямо или метафорически: КАТЫЛЬ – *растение с круглыми ягодами*; ОКАТНЫЙ ВЕНТЕРЬ – *вен-*

терь для лова лещей (состоит из обручей с натянутой на них сеткой); КАТЕЛКИ – *подсолнечник*; ПЫЖИК – *дождевик* (круглый, "пыжится"). При экспликации данного концептуального типа представлены все языковые средства.

Тип «ОВАЛ» отражает объемное восприятие деформированного шара. Степень образности метафорически представленных именовании может усиливаться дополнительными признаками принадлежности другому объекту. Номинации отражают сравнение с предметом, частью тела, растением: ПОДУШКА, БУЛОЧКА – *подберезовик*; ЖЕНСКИЕ ПАЛЬЧИКИ – *помидоры с продолговатыми плодами*; ЖЕЛУДЕВЫЙ ВИНОГРАД – *сорт винограда с длинными ягодами*; КЛЮКВА – *сорт черной смородины с ягодами удлинённой формы*. Тип представлен семантическими производными.

Тип «ЛЕПЕШКА» отражает плоскостное восприятие деформированного круга, наличие "отрицательной части", может совмещаться с концептом «цвет», «функция». Выражается опосредованно, сопоставлением с частью тела: КОПЫТНИК – *сплюснутый кочан капусты*; БЕЛОКОПЫТНИК – *растение*, ПЛЮХА – *гриб с плоской, как расплюсчённой, шляпкой*. Данный концептуальный тип выражен словообразовательными производными единицами.

Тип «МУДУШКИ» отражает признаки типа «ОВАЛ», «ШАР» и определенное положение частей именуемого объекта относительно друг друга. Наименования, отражающие этот тип формы, представлены образно – сопоставлением с частью тела и уточняющим признаком, ассоциативно связывающим с другим концептом: КОТОВЫЕ ЯЙЦА – *бересклет европейский*, БАРАНЬЯ МУДЬ, БАРАНЬИ ЯЙЦА – *жимолист*; КОБЫЛЬИ ТИТЬКИ – *жимолист голубая с ягодами удлинённой формы*. Тип представлен словосочетанием, включающим семантическую производную единицу.

Тип «БОЧКА» отражает признаки концепта «ШАР» и совмещается с концептами «функция» (служить вместилищем, приобретать форму шара в процессе функционирования), «структура», «материал», «способ изготовления». Наименования отражают сопоставление с предметом: БУРАК – *приспособление для ловли диких пчел, сделанное в виде цилиндрического сосуда*; КОРЗИНА – *сплетенная из прутьев ловушка для рыбы*; ЗЫБКА – *рыболовная снасть – рама с натянутой сетью*; КОРЧАГА – *рыболовная снасть в виде большого горшка – корчаги*; ШУМОВКА – *мелкий сачок для черпания льда*. Тип выражен семантически производными.

Тип «ДУГА» – отражает восприятие именуемого объекта и его частей как в большей или меньшей мере согнутого стержня, форма может

быть жестко фиксированной (постоянной) или временной. Отмечается форма пространственного расположения объекта или форма части по отношению к целому. Признак формы совмещается с отдельными признаками концептов «функция», «размер», «характер поверхности». Концепт «ДУГА» в исследуемом материале представлен непосредственно и опосредованно, сравнением с частью тела, животным, предметом: КОСОЙ, КОСЫНЯ – *о петухе* (очевидно по форме хвоста), КРИВУЛИНЫ – *клещи, применяемые при ковке*; ГОРБУША – *тяпка для мелкой рубки леса*; КОСУРА – *нож с загнутым концом для очистки прутьев от коры*; ЛУКАСТАЯ ЛОШАДЬ – *лошадь, у которой хребет со впадиной (лукой) (лукастый – с изгибом)*; КРИВЬЁ – *кривые деревья*; КОСОВИК – *скошенный молоток*; КЛЕШНИ – *щипцы*; ХВОСТУША – *приспособление для ловли рыбы – конусообразная корзинка*; ХОБОТЕНЬ – *приспособление, похожее на вершу, но длиннее и уже ее*; КРАСНОСИНИЙ ХВОСТАЧ – *дербенник иволистный (соцветие в форме хвоста)*; ДЛИННОХВОСТКА – *груша-тонковетка*; ГОРБИНА – *кривое изогнутое дерево*; КОНИСТАЯ ЛОШАДЬ – *лошадь у которой шея колесом*; БАРАШКИ – *щипцы для выдергивания гвоздей*; КРЕНДЕЛЬ – *ягненок*; УХВАТИКИ – *иглица, инструмент для вязания сетей*; КОРОМЫСЛО – *ловушка для птиц в виде маленького коромысла*; ДУГА – *лук для стрельбы*; КОЛЕСИНА – *кривое дерево*; КОСАТНИК – *душистый аир (по форме листа)*. Признак может быть представлен в языковой единице имплицитно: ВЗБОЧЕННЫЙ КОНЬ – *конь с крутыми боками*, а также совмещен с признаками реального или потенциального действия: ГИБОШ – *согнувшееся дерево*; ОГИБЬ – *береза, наклонившаяся под тяжестью снега*; КАТУШКА – *картофель*. Указанная разновидность концепта выражается производными единицами всех типов.

Тип «ВИЛЫ» отражает восприятие контура именуемого объекта или его части (стержень с раздвоенным концом), совмещается с признаком функционально значимого или потенциального действия (цеплять). Наименования отражают сопоставление с предметом, животным: ВИЛКА – *шест с развилкой на одном конце*; МУТОВКА – *рыболовецкое орудие – палка с тремя сучками на конце для протаскивания подо льдом самолова*; ВИЛАГА – *развиллистое дерево*; КОЗА – *приспособление для плетения сетей, состоит из донца и прикрепленной к нему под углом части типа ветки с развилкой (рога)*. Признак формы может быть не эксплицирован: РАЗРОГИЙ ВОЛ – *вол с разлогими рогами*. При экспликации типа продуктивны семантические производные.

Тип «РЯБИНКА» можно охарактеризовать как структурно усложненный тип «ВИЛЫ». Языковые единицы свидетельствуют о совмещении с концептом «функция», «цвет» и нек. др. Именуемые объекты в

процессе номинации сравниваются с частью тела, объектом животного мира, предметом: ЛАПОЧКА, ГУСИНАЯ ЛАПКА, ЖЕЛТЫЙ РЯБИННИК – *растения*; ЕРШ – *верша*; МУТОВНИК – *лес из молодых ветвистых сосен*; ПОМЕЛОЧКА – *хвоц*; МЕТЕЛКА – *донник*. Тип эксплицирован семантическими производными, а также словообразовательными на базе производящего с метафорическим переносным значением.

Тип «ГРИВА, ГРАБЛИ» – отражает восприятие формы как совокупности определенным образом расположенных по отношению друг к другу частей; формы, жестко фиксированной и способной изменять положение в пространстве. Данный концепт может совмещаться с другими: «оценка», «размер», «функция», «мера», «характер поверхности». В наименованиях отражено сопоставление с предметом, частью тела, животным: ГРЕБЕНКА – *приспособление для выравнивания соломенных крыш в виде граблей*; ГРАБИЛКА – *деревянное орудие для сбора ягод в виде руки в пальцами или зубьями и с ложбинкой*; ГРАБЕЛЬКИ – *живокошь полевая* (цветок с торчащим шпорцем), МАЛЫЕ ГРАБЕЛЬКИ – *растение*; ГРИВАЧ – *овес*; ОХВОСТЬЕ – *мелкий редкий лес*; РУЧКА – *совок для сбора ягод*; ДВУГРИВЫЙ ЯЧМЕНЬ; ЕЖОВАЯ ЩЕТКА – *щетка для чесания льноволокна*; МОХНАТУХА – *ромашка*; МОХНАТЫЙ ЛЕС – *хвойный лес*; НАРЕЗНАЯ ТРАВА – *тысячелистник* (с расчеченным, как нарезанным, листом). Тип представлен словообразовательными производными единицами и словосочетаниями.

Тип «УГОЛ, КРЮК» отражает пространственное восприятие фиксированной формы как сочетания двух элементарных форм – стержней, стержня и дуги, форму целого объекта и части по отношению к целому; тип «КРЮК» совмещается с концептом «функция» (цеплять, резать, драть). Форма отражена в номинативных единицах непосредственно и опосредованно, путем образного сопоставления с предметом, частью тела, животным: КРИВДА – *мешкообразная сеть, прикрепленная на козлах двух кольев*; КРЮЧКА – *палка с сучком на конце для полоскания белья в холодной воде*; ЯКОРЕК – *трехконечный багорчик, похожий на якорь*; КРЮЧОК – *искривленный огурец*; КОГОТЬ – *железный крючок для подрезания коры дерева*; РОГУЛЬКА – *инструмент в виде двух железных крючков для проведения желобков*; КОШКА – *деревянная рогатка с грузом для извлечения из воды затонувшей сети*. Тип эксплицирован преимущественно словообразовательными производными.

Тип «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК» отражает плоскостное вертикальное или объемное восприятие формы, в последнем случае совмещается с концептом «функция» (вмещать, мерить). В номинативных единицах отражено сопоставление с предметом: КАРМАН – *ловушка из сетки в виде мешка, куда попадает рыба*; ЛИНЕЙКА – *лопатка для мерки ячеи*

и *вязки сетей*; ТЕЛЕВИЗОР, ЭКРАН – *сеть, натянутая на раму*. Тип выражен семантическими производными единицами.

Тип «ТРЕУГОЛЬНИК» отражает пространственное и плоскостное восприятие контура, сочетается с признаками концептов «характер поверхности» (острый), «цвет», «место», «функция». В названиях отражено сопоставление с предметом: ЛОЖЕЧКИ, ЗВОНОК – *пастушья сумка (звонцы – старинный музыкальный инструмент треугольной формы)*, КОПЕЙКОВЫЙ НОЖ – *нож, похожий на небольшое копьё*; ЗУБРИЛОВКА – *земляника лесная (листья зубчиками)*, КОЛПАК 1, 2 – *масленок; гриб*; НОЖ ЛАВРОВЫЙ – *в форме лаврового листа*; ДЗВОНИКИ – *растение с цветком в форме колокольчика*; ДЕРЕВЕНСКИЕ СЕРЬГИ, БЕЛОЮБОЧНИК – *фуксия*; ПЕРЕХВАТКА – *продолговатая тыква, сужающаяся к середине (как перехваченная)*. Тип представлен как семантическими, так и словообразовательными производными.

Типы «ШАЛАШ, ИЗБА» отражают трехмерное восприятие формы – объемный треугольник и четырехугольник, часто совмещаются с концептом «функция». Наименования отражают сопоставления с предметом: ИЗБУШКА – *род ловушки на медведя*; ИСТРУБЧИК – *ловушка на тетерева (иструб – сруб)*; УГОЛЬНИК – *ловушка на медведя (углом кладется береза, в угол ставится капкан)*; ШАТЕР – *ловушка на птиц, сеть, укрепляемая на жердочке в форме шатра*; ГРАММАФОНЧИК – *повилика*. Тип выражен словообразовательными производными на базе производящей единицы с метафорическим переносным значением.

Тип «ЛОПАТА, ПЕСТ» отражает объемное восприятие формы, совмещается с концептами «характер поверхности» (гладкая, ровная), «функция». Эксплицируется языковыми единицами, обозначающими предмет: ЛОПАТКА – *приспособление типа бруска для точки кос*; ЛОПАТКА МАСТЕРСКАЯ – *мастерок штукатура*; ЗАСТУП – *орудие в виде долотообразного железа с наконечником, которым делают проруби во льду*; ПЕСТ – *палка с металлической трубой на конце, которой забивают под водой колышки*; ПЕСТОВНИК – *хвощ*; ТОЛКАЧИ – *подорожник (толкач – пест)*; СВЕЧИ – *хвощ*. Данный тип представлен преимущественно семантическими производными.

Тип «БАНТ» отражает пространственное восприятие формы, структурно усложненный концепт «ТРЕУГОЛЬНИК», совмещается с концептом «цвет». Именования отражают сравнение с насекомым: БАБУШКИ, БАБОЧКИ, МОТЫЛЕК – *виды растений и представляют собой семантические производные единицы*.

Тип «БУГОРОК» отражает объемное восприятие формы как части предмета, выделяющейся выступом на фоне ровной (гладкой) поверхности, совмещается с концептом «цвет», «размер». В наименованиях

отражено сопоставление с частью тела: УШАТКА – *курица, у которой возле ушей выступают перья бугорком*, БЕЛОГУБИКИ – *сорт огурцов с плоскими белыми ребрышками*. Тип представлен словообразовательными производными на базе производящей единицы в переносном (метафорическом) значении.

Тип «КОЛЕНО» отражает восприятие формы как ломаной линии, фрагменты которой определенным образом расположены по отношению друг к другу и соединены; совмещается с концептом «структура». Форма выражается опосредованно, путем сравнения с частью тела: КОЛЕНО – *столярный инструмент для ручного сверления отверстий в древесине*.

Тип «ПОЛОСА» отражает образное плоскостное восприятие формы как горизонтально или вертикально расположенного объекта; совмещается с концептом «функция». Концепт выражен опосредованно, сравнением с предметом: ПОЛОСКИ – *рыболовная снасть*; СТЕННАЯ СЕТЬ – *сетная перегородка*; ПЛЕТЕНЬ – *рыболовный закол*.

Тип «ВОЛНА» отражает восприятие формы как волнистой линии, совмещается с признаком концепта «пространство» (протяженность), «размер», «функция» (двигается). Концепт выражен метафорически, сравнением с предметом, объектом животного мира: ДОРОГА – *удочка с блесной, жерлица*; ЗМЕЙКА – *тила-лобзик*; ЧЕРВЯК – *двуручная тила*; ПЕТУШОК – *лисички ("чашечка... как гребень у петуха...")*. Тип выражен семантическим производным или словообразовательным на базе семантического.

Анализ концептуальной сферы, связанной с формой ИО, позволил выделить в пределах концепта «форма» несколько элементарных типов, а также менее и более усложненные (крюк → треугольник → бант). Выделено три элементарных (прототипических) концепта, которые могут быть представлены как концепты-схемы (в терминологии А.П. Бабушкина [2, 3]): «СТЕРЖЕНЬ», «ДУГА», «КРУГ». С указанными тремя генетически связаны остальные (усложненные) концепты. Они могут быть осложнены некоторыми семантическими элементами (если представлять концепт-схему в виде картинки, то можно сказать, что она усложнена однотипными структурными элементами), в т.ч. объемным (пространственным) представлением формы. Усложненные концепты могут отражать представление о форме совокупности однотипных элементов именуемого объекта или о форме именуемого объекта в совокупности с другими объектами; представления о форме части объекта по отношению к целому и др., например, «КРУГ» (контур) → «ШАР» (круг в разных плоскостях, объемное представление круга) → «МУДУШКИ» (два шара с определенным соотношением друг с другом и определенном по-

ложении в пространстве); «КРУГ» (контур) → «овал» (деформированный контур) → «ЛЕПЕШКА» (объемный деформированный контур); также «ВИЛЫ» → «ГРАБЛИ, ГРИВА», «ВИЛЫ» → «РЯБИНКА»; «ТРЕУГОЛЬНИК» → «ШАЛАШ»; «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК» → «ИЗБА»; «КРЮК» → «КОЛЕНО», «КРЮК, УГОЛ» → «ВЫСТУП» и др.

Усложненные концепты образуются и при "совмещении" в определенной последовательности нескольких однотипных прототипических форм (возникают "формы-фигуры") : «СТЕРЖЕНЬ» → «КРЕСТ», «СТЕРЖЕНЬ» → «УГОЛ, КРЮК», «СТЕРЖЕНЬ» → «ПОЛОСА», «ДУГА» → «ВОЛНА». Концепты, отражающие "формы-фигуры", могут образовывать более сложные ментальные образования: «ТРЕУГОЛЬНИК» → «БАНТ» (соединение двух однотипных фигур – треугольников). Подобные концепты чаще образуются совмещением разнотипных фигур: «ЛИНИЯ» + «ДУГА» → «ВОЛНА»; «СТЕРЖЕНЬ» + «ТРЕУГОЛЬНИК» или «ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК» → «ЛОПАТА, ПЕСТ»; «СТЕРЖЕНЬ» + «ШАР» → «БАЛАБОЛКА».

Усложненные типы концепта «форма» слабо дифференцированы, взаимопроницающие, они образуют "нечеткие подмножества" с диффузными границами, вследствие этого – лексические единицы, репрезентирующие концепт, расширяют семантическое поле в языке и могут служить средством объективации нескольких подмножеств. Слабая дифференциация концептов обусловлена свойствами человеческого мышления – неясностью и неточностью (со ссылкой на Б. Рассела [Налимов В.В., 1974. С. 82]). Как показывает исследованный материал, дифференцируются при лексической объективации только группы концептов, генетически связанные с определенным прототипическим концептом или простейшим "концептом-фигурой": «КРУГ» // «СТЕРЖЕНЬ», «КРЮК (УГОЛ)» / «КВАДРАТ» / «ТРЕУГОЛЬНИК» // «ВИЛКА» / «РЯБИНКА» / «СЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ» и под.

Концепт прототипический и усложненный, фрагментом которого является прототипический (дуга – составляющая круга, угол – составляющая четырехугольника), может получать одинаковую экспликацию в языке. Так, для обозначения типа концепта «ДУГА» используется слово или производящая основа слова *колесо*, для обозначения типов «крест», «мутовка», «сложная конструкция» – слово *птица*.

Анализ материала показал, что в языке существует тенденция к выражению некоторых типов концепта ограниченным рядом языковых знаков. Так, концепт «БОЧКА» часто объединяет наименования рыболовецких ловушек, конструкция которых предполагает попадание рыбы внутрь: БОЧКА, ЗЫБКА, КОРЧАГА, КОРЗИНА, КОРОБИЦА, КОРОБ, КОРЫТО, КОРЧАЖКА, КОШ, КУБЫШКА, КУВШИН; концепт «ПО-

ЛОСА» связан с представлением о длинном, плоском, вертикальном или горизонтальном, гладком при плоскостном восприятии: ДОРОГА, ДОРОЖКА, ЗАБОР, КНЕЙНАЯ ПОЛОСА (кнея – *сеть*), ПЛЕТЕНЬ, ПЛОТ (плот – *забор, изгородь*), ПОЛОТНИЩЕ, ПОЛОСА, ПОЛОСКИ, СТЕННАЯ СЕТЬ. В ассоциативный ряд как правило, попадают предметы, хорошо известные русскому человеку, отражающие культурные традиции как всего народа в целом, так и локально ограниченных групп населения.

О восприятии признака формы в нераздельности с другими характеристиками ИО свидетельствуют лингвистические исследования последних лет: особенность описания формы совместно с другими семантическими характеристиками (ровный, острый, тупой, функцией части имеваемого объекта и др.) отмечается Е.В. Рахилиной при выявлении значимых компонентов семантического поля прилагательных, обозначающих форму предмета в русском языке [Рахилина Е.В., 2000. С. 153, 161], то же отмечено Л.В. Балашовой при описании метафорических номинаций XI–XIV вв. [Балашова Л.В., 1998. С. 22].

Исследуемый диалектный материал показывает, что в зону концепта «форма» «втягиваются» фрагменты иных концептов ментальной сферы человека, и эти концепты разнотипны: они могут быть осмыслены как отражающие абстрактные понятия («функция», «размер», «острота», «характер поверхности», «цвет»), так и репрезентирующие конкретную реальность («корзина», «кошка», «шалаш» и пр.).

Совмещение концепта «форма» с различными типами других концептов, равно как и усложнение элементарных типов концепта, оказывают влияние на повышение степени образности представления. Концепт-схема имеет тенденцию к преобразованию в концепт-картинку (по терминологии А.П. Бабушкина [Бабушкин А. П., 1998]), например, концепт «форма» + концепт «функция» (абстрактные концепты) служат соединяющим звеном двух концептов, отражающих конкретные реалии «КОШКА» (животное) и «КОШКА» (орудие – *деревянная рогатка с грузом для извлечения из воды затонувшей сети, по представлению диалектоносителя, "...царапает, как кошка..."*). Образность возрастает и за счет образной "конкретизации" формы, дополнения, "прорисовывания" концепта-схемы в концепт-картинку: ГУСИНЫЕ ЛАПКИ, ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ. В некоторых случаях концепт «форма» совмещается с концептом-фреймом, отражающим реальную или возможную денотативную ситуацию, а также воображаемую: ЗЕВАЛО (цветок при деформации соцветия напоминает пасть зевающего зверя) .

Известный факт развития человеческого мышления в исторический период от мифологического к логическому, от чувственного к радио-

нальному: (ощущение → восприятие → представление) дает возможность предположить две тенденции в динамике образования концепта «форма»: 1) от конкретного к абстрактному: от картинке к схеме; и 2) от простого к сложному: от элементарной, прототипной схемы к усложненной схеме и далее – к картинке. Как представляется, обе тенденции существуют в современном языке и обусловлены особенностями право – и левополушарного способа обработки информации. Интересные наблюдения о связи языкового выражения с работой правого и левого полушария мозга приводятся в работах психолингвистов [Юрчик Л.В., 1988. С. 22; Николаенко Н.Н., Егоров А.Ю. и др., 1997. С. 113 и др.].

Таким образом, анализ диалектной лексики, отражающей концепт «форма», выявил следующие закономерности в организации и экспликации данного ментального образования:

1. Сложную организацию концепта «форма» – представление концепта как многообразных типов формы. Существование прототипических (элементарных) концептов и усложненных, генетически связанных с элементарными. Каждая разновидность концепта характеризует определенный ракурс восприятия формы ИО субъектом номинации. В пределах концепта его разновидности имеют диффузные границы, исключение составляют группы концептов, генетически связанных с прототипическими (круг / квадрат / треугольник).

2. Концепт «форма» обнаруживает связь с такими концептами, как «характер поверхности», «функция», «размер», «цвет», «оценка», а также многочисленными концептами конкретных реалий. «Втягиваясь» определенными семантическими сегментами в пределы концепта «форма», указанные концепты образуют в совокупности с последним концептуальное поле «форма».

3. Исследование языковой экспликации концептуального поля «форма» позволило отметить, что каждый тип концепта тяготеет к определенному виду соотношения с другими концептами (в пределах поля), а также к определенному способу выражения – семантическому или словообразовательному способу словопроизводства, многие типы имеют тенденцию к обозначению лексемами определенного тематического класса.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1998.
Балашова Л.В. Метафорическая номинация "вещного мира" в истории русского языка // Филология. Вып. 2. Саратов, 1998.

- Кравченко А.В.* Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.
- Лихачев Д.С.* Концептосфера русского языка // Освобождение от догм. М., 1997. Т.1. С. 33–42.
- Налимов В.В.* Вероятностная модель языка. М., 1974.
- Никитин М.В.* Лексическое значение слова: Структура и комбинаторика. М., 1983.
- Николаенко Н.Н., Егоров А.Ю., Траченко О.П., Грицышина М.А.* Функциональная асимметрия мозга и ассоциативный процесс // Языковое сознание и образ мира. М., 1997.
- Павленис Р.И.* Проблемы смысла. М., 1983.
- Попова З.Д., Стернин И.А.* Понятие "концепт" в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
- Рахилина Е.В.* Некоторые замечания об отражении формы объекта в русском языке // Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен. М., 2000. С. 152–168.
- Словарь русских народных говоров* / Под ред. Ф.П. Филина. Л.: Наука, 1969. Вып. 3.
- Юрчик Л.В.* Языковое мышление и этапы его развития. АКД. Минск, 1988.
- Янценецкая М.Н.* Введение. Модели лексического значения. Лексическое значение в логическом аспекте // Семантические вопросы словообразования. Производящее слово. Томск, 1991.

Ю.А. Эмер

МИРОМОДЕЛИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ ФОЛЬКЛОРА

К вопросу о взаимодействии языка и других семиотических систем в представлении мира наука обращалась неоднократно, признавая приоритет языка. При этом практически не исследовались взаимодействия языка и фольклора как категорий духовной культуры народа, моделирующих мир.

Язык и фольклор, с точки зрения философии, – это формы общественного сознания, с точки зрения семиотики – две самобытные знаковые системы, два способа отображения действительности, мира в сознании человека. Но это два разных образа мира и по объему, и по содержанию, и по способам передачи этого содержания.

Язык включает простую, «элементарную» картину мира, фольклор – сложную, включающую чувственно-наглядный, эмоциональный, интуитивный, трансцендентный компоненты. Но обе системы являются универсальными: язык – это универсальное средство общения, фольклор – универсальные смыслы, закладывающие фундамент взаимоотношений человека и общества.

Между двумя этими системами существует связь: язык, будучи универсальным средством коммуникации, является универсальной оболочкой форм общественного сознания, словарем, с помощью которого можно создать любой текст. Именно язык является одной из основных систем, опосредствующей фольклор как систему текстов (текст – в широком понимании). Возможность языка фиксировать информацию вегетативного, цветового и других фольклорных кодов, объясняется его первичностью по отношению к другим семиотическим системам. Язык – это семантический фундамент общественного сознания, посредник в передаче социального опыта (культурных норм, традиций и т.д.), один из основных способов фиксации «специфических» представлений о мире, заключенных как в разных формах общественного сознания (религии, науке, искусстве), так и в разных этнических культурах (см. работы В. Гумбольдта, А. Вежбицкой, А.Д. Шмелева и др.).

Фольклор является исторически первым «художественным» творчеством. Несмотря на очевидную художественность, фольклорные тексты не имеют замкнутости литературных произведений. Это художественно-эстетическое отображение мира, искусство бесписьменное, коллективно-безавторское, отражающее эстетику, мировидение, аксиологию фольклорного социума. Фольклор – многокодовая система, выраженная и в тексте, и в околотекстовом пространстве. Это «нормативная грамматика», которая задает некий алгоритм поведения в социуме. Она усваивается человеком с рождения и определяет всю сумму его представлений о мире, презентирова особую модель мира. Фольклорная модель мира «выступает изначальным руководителем в создании текста, "грамматическим авантекстом", или грамматикой конкретного авантекста» (Т.В. Цивьян). Общефольклорная языковая картина мира предстает как мозаичное полотно, созданное из обрядовых – необрядовых, жанрово дифференцированных различных составляющих.

Фольклорный необрядовый текст есть прежде всего «художественный текст», призванный доставлять эстетическое наслаждение. Модель мира создается в тексте художественными средствами на всех уровнях: композиционном, сюжетном, языковом, которые напрямую связаны с категорией жанра. Представляется, что именно категория жанра является носителем миромоделирующих функций текста. [Именно жанр задает рамку мировидения, сценарий, а художественные средства, в том числе и языковые, подстраиваются под его требования.

Специфика категории фольклорного жанра, в отличие от литературного, где характер текстов как законченный акт определяется личным авторством, обусловлена спецификой текстообразования в фольклоре: природой явления, условиями возникновения и функционирования текстов.

Фольклор – это категория исторически изменчивая, которая аккумулирует знания предыдущих и новых эпох, отражая картину миру и прежних времен, и современную. Развитие устного народного творчества выливается в эволюцию, смерть или рождение жанров; запечатлется в своеобразном «культурологическом» контексте, фиксирующем мифологическое, традиционное сознания, их сплав, что также отражается в жанровой системе фольклора (ср. с лирической песней и частушкой, классической и современной загадкой).

В настоящее время мы можем говорить о смене фольклорной парадигмы. На современном этапе жанры традиционного фольклора эволюционируют, перерождаются, создаются новые: романы, переделки книжной поэзии, блатные песни, страшилки, рукописные альбомы и т.д. Современный фольклор отходит от традиций «классического» фолькло-

ра и в способах передачи текстов (наряду с устностью, письменные и аудиотехнические способы передачи информации становятся равноправными), и в перечне жанров, и в их наполнении. Ассортимент текстов растет и сменяется намного быстрее, чем в традиционном фольклоре, жанровый состав обновляется почти полностью, увеличивается роль индивидуального авторства. «Во фрагментированном, полицен-трическом виде они (жанры. – Ю.Э.) бытуют у различных возрастных групп, социальных и профессиональных кланов, располагаясь на периферии идеологического пространства, ...тесно связаны с другими нефольклорными и парафольклорными формами массовой культуры» (С.Ю. Неклюдов). Несмотря на выраженную стратификацию современного фольклора, принципы фольклорного миромоделирования, обусловленного жанровой принадлежностью текста, остаются неизменными. Если дифференцировать модель мира и картину мира как рамку и содержание, то модель мира сохраняется, меняется лишь ее наполнение. Так, в девичьей альбомной лирике наследуются основные правила, приемы построения любовной лирической песни. Как и в лирической песне, героиня не имеет индивидуализированных портретных характеристик: *«Ох, красавица – девочка та. Светлый волос так гладко причесан, и улыбка не сходит с лица»; «Глазки, как алмазки, сердце просит ласки, и ее русалкой стали звать»*, но зато у нее появляется собственное имя (*крошка Джанель, Лилька, Ассоль* и др.). При всем многообразии характеристик героинь альбомной лирики можно выделить основные архетипические черты, отражающие установки русского традиционного мировоззрения: нравственная чистота, самоотверженность в любви, духовная красота. Основные характеристики героя альбомной лирики также соответствуют канонам традиционной лирики.

В современной альбомной лирике, как и в необрядовой любовной песне, модель мира строится на жестких оппозициях, которые получают иное наполнение. В альбомной лирике модель мира также выстраивается при помощи бинарных основных оппозиций: «свой / чужой», «мужской / женский» и т.д. Однако традиционное наполнение этих оппозиций не всегда сохраняется. «Свое» пространство может быть обозначено традиционно выделяемой единицей «дом», реже единицей «море», в этом случае «суша» воспринимается как «чужое» пространство, приносящее героине страдание. «Чужое» пространство также выражается специфическими единицами: «школа», «улица» и др. Причем в тексте песни чаще всего эксплицитно представлен лишь один компонент оппозиции. Как и в необрядовой лирической песне, действия, составляющие угрозу психическому и физическому здоровью человека, совершаются в

«чужом» пространстве, которое на языковом уровне не маркируется (ср. с традиционной лирической песней).

При общности принципов миромоделирования в жанрах традиционного и современного фольклора имеет ряд специфических отличий, которые в первую очередь обусловлены тем, что в архаическом фольклоре текст манифестируется как реальность, а позднее, как и в художественной литературе, текст превращается в «отображение» реальности (см. аристотелевскую теорию мимезиса).

Фольклорные произведения отражают определенные ментальные стереотипы, на основе которых и формируется картина мира коллектива и отдельной личности. «Фольклорный текст не хранится в памяти сказителя в заученном виде. При каждом исполнении текст как бы заново монтируется по определенным моделям (сюжетным, композиционным, жанровым). Хотя мера его устойчивости в разных жанрах и традициях весьма различна, подчас он оказывается чрезвычайно близок к «излагаемому наизусть» (С.Ю. Неклюдов). В сознании носителя есть ряд образов, конструкций, моделей, сюжетов, которые извлекаются из «запасников» памяти, к тому же часто наполняются «жанровым» содержанием. Так, вода в фольклоре является основой жизни, но не может быть «средой обитания» человека. С одной стороны, вода – универсальный образ изначального состояния мира, но, с другой стороны, она связана со стихией смерти (в сказке бывает «живая вода» и «мертвая вода»). Вода может быть рубежом, очерчивая непреодолимые границы ландшафта, между «своим» освоенным и «чужим» неосвоенным пространством (в лирической песне, частушке), а также может служить границей между миром «живых» и «мертвых» (в заговоре). При создании фольклорного текста исполнитель ориентируется на модель, образец, усвоенный от предшественника, с другой стороны, использует всю систему общесюжетных образов, учитывая жанр создаваемого произведения. В данном случае мы можем говорить о жанровой модели, которая присутствует в традиции и предшествует каждому отдельному тексту.

В фольклористике существует несколько жанровых классификаций традиционного русского фольклора, что обусловлено сложностью, многогранностью этой категории. Нам близко понимание жанра Б. Путиловым «как исторически сложившейся и реализуемой в конкретных произведениях, в совокупности произведений (но могущей быть сформулированной в виде ряда универсалий) системы содержательных, собственно поэтических, функциональных и исполнительских принципов, норм, стереотипов, за которыми стоят выработанные коллективным опытом представления, отношения, связи с теми или иными сферами действительности, социальными институтами, бытом и т.д.» [Путилов Б.Н.,

1995. С. 83]. Для нас принципиальным является положение, что жанр – это и система языковых средств, приобретающих значение, жанрово обусловленное. Так, в лирических песнях и частушках единица «калина» приобретает символическое приращение в значении – символ девичьей красоты, взрослости девушки, женщины. «Посадили червонную калину. / Ой, расти, расти **червонная калина**, / Ой, гуляй, гуляй молодая дивчина!» (лирическая песня); «На горе стоит дубок, / Да к калине клонится, / Парень девушку целует, / Хочет познакомиться» (частушка). В загадках же, как и в пословицах, образ калины лишен символическости, «обыгрывается» лишь внешний вид дерева: «Над водой, водой стоит **красный с бородой**» (загадка).

Говоря о содержательных, поэтических принципах, языковых средствах того или иного жанра, мы различаем компоненты жанрово определяющие (жанрообразующие) и жанрово сопутствующие.

Так, в заговоре отглагольное имя со значением отвлеченного действия (ОИ) является одним из жанрообразующих средств, оно занимает специфичную позицию в основной части текста. В заговорах ОИ называется болезни: **щипота, ломота, стрельба, зев**, они представляются говорящим как название болезней, одновременно представляя действия, воздействующие на человека. Определенность позволяет представить болезни как объект, который оказывается слабее сил, им противостоящих, что передается при помощи основного глагола **уничтожает, унес, нет**. «Адам умер, а кровь унял, **щипоту, ломоту с собой унес...**» (заговор на остановку крови). «Он **уничтожает пальбу, стрельбу, серый глаз...**» (заговор от сглаза). Таким образом, во всех заговорах ОИ называет то, с чем необходимо бороться, представляя эти действия определенно в качестве названий болезней. Только в заговорах ОИ совмещает название болезни и обозначение физического действия и может представить обозначаемое как начало, активно воздействующее на человека, именно в заговорах синтаксический дериват используется в качестве элемента описания устойчивого сюжета и в качестве субъекта, совершающего действие. Подобные функции не могут выполнить конструкции, синонимичные конструкциям с ОИ. В силу вышеперечисленных признаков синтаксический дериват по праву можно назвать жанрообразующим средством.

В частушках же ОИ вследствие специфики значения выступает как жанрово сопутствующее средство. Использование ОИ в частушках мотивировано тем, что, с одной стороны, они дают возможность избегать громоздких выражений, что немаловажно для этого жанра, с другой – использование ОИ – это особая интерпретация ситуации с различной коммуникативной направленностью. В частушке активно используются

особенности семантики ОИ, синтаксический дериват становится элементом художественного приема, средством создания иронии.

В частушке *«Перестройка, перестройка. / Я и перестроилась. / У соседа денег много, / я к нему пристроилась»* ОИ употребляется в качестве топики. В этой частушке говорящий использует текстовую полисемию, происходит столкновение прямого и переносного смысла. Первый задается ОИ, при произнесении которого в сознании носителя языка возникает представление о масштабной ситуации, связанной с переустройством общества. В последующем же тексте дается сниженный вариант переустройства жизни, который описывает конкретную бытовую ситуацию. С другой стороны, синтаксический дериват воспринимается в прямом значении как действие по глаголу **перестроиться** – «изменить направление своей деятельности, свои взгляды». Дальнейшее описание идет через производящий глагол **перестроилась**, повествование воспринимается как должное. В данном тексте комический эффект достигается благодаря игре смыслов, заявленных в ОИ. Эта частушка наиболее ярко демонстрирует пересечение структурных особенностей семантики синтаксического деривата с особенностями частушки, когда у ОИ появляются неспециализированные функции, реализующиеся в высказывании. ОИ используется для выражения жанровой особенности частушки – иронии.

Анализ жанрообразующих признаков, поэтических, содержательных, языковых средств показал, что в конкретных текстах могут проявляться не все признаки, некоторые уходят на периферию, а актуализируются признаки, не характерные для жанра. В частности, в лирической песне, имеющей стабильную систему поэтических, языковых средств, встречается ряд единиц-новообразований (характерных для частушки), которые не просто лишены символической фольклорной семантики, а десемантизированы и выполняют в тексте художественно-изобразительную функцию. *«Ожидала дружка разудалого. / Вот стучит, гручит, / По дорожке дучит...»* (лирическая песня).

Сделанные наблюдения позволяют говорить о жанре как о системе, стоящей над текстами, которые являются частным выражением этой системы. Жанр обладает своей грамматикой, семантикой, лексикой, поэтикой – сводом правил, которые и реализуются в тексте. В любом фольклорном тексте можно обнаружить действие общих универсальных законов жанра. Знание этих законов, с одной стороны, помогает строить, создавать текст, с другой – позволяет выявить связь текста со структурой жанра, прочесть текст на глубинном уровне.

Категория жанра, в том числе и фольклорного, имеет ряд атрибутов: хронотоп, тип героя, поэтика, инвариантное и вариантное и др., которые

имплицитно отражают миромоделирование. Особо следует оговорить категорию вариантности фольклорного текста.

Варьирование является исконной чертой фольклора, поэтому найти прототип того или иного текста – невозможно. Минимальной варьированностью отличаются обрядовые тексты, прежде всего заговоры, а также пословицы. В необрядовой лирике, сказке масштаб варьирования намного больше. Варьируясь от исполнения к исполнению, фольклорный текст может менять языковые средства (особенно лексический и фразеологический состав), последовательность конструктивных элементов, без изменений остается тематика и жанр произведения. Жанр «остается неизменным в своих архетипических инвариантных структурах, позволяющих распознавать и идентифицировать его как таковой в любых произвольных модификациях» [Лебедева О.Б., 2001. С. 114].

О каких инвариантных структурах идет речь? Прежде всего, под инвариантными структурами мы понимаем тот перечень условий, критериев, предъявляемых жанром к отбору фактов реальной действительности. Так, предметом изображения в лирической любовной песне никогда не станет батальная сцена. И второе, любой жанр предполагает определенную интерпретацию фактов действительности. Сравним, как одно и то же событие – измена – описывается в лирической песне и частушке. *«Подружки, вы, подружки, / Вам счастье, а мне нет. / Не лучшие ли, подружки, / живой в могилу лечь?... Любила я милого, / и он любил меня. / Любовь была напрасна, / он изменил меня»; «Сегодняшний день – воскресенье, а милый ко мне не пришел, наверно, нашел он другую... Не шейте мне белое платье, носить я не буду его, а шейте мне желтое платье и в гроб положите меня...»* (лирические песни). *«Меня милый изменил – / Я не загорюнилась. / Он до дома не дошел, / Как я познакомилась»; «Меня милый изменил, / Хотела утопиться. / Села да подумала: / Охота ли мочиться?»* (частушки).

Лирическую песню характеризует простота и ограниченность жизненного материала. Сюжет ее очень неразвит, обрисовывается лишь сюжетная ситуация, а основная задача – показать движение чувства. Это достигается использованием определенных композиционных и художественно-стилистических приемов, в том числе лирических обращений, художественных эпитетов, метафор, сравнений. Основная задача выразительных средств в лирической песне – достичь эмоционально-впечатлительной передачи ситуации, мыслей и переживаний.

Частушка выросла из лирической песни, во многом заимствовала ее образную систему, при этом она проникнута карнавальным, скоморошечным началом, часто «переворачивает» ситуацию, иронизирует. Если в лирической песне чувство передается через символические предметы

и описание самого чувства, то частушка прямо передает настроения героя, не скрывая их под аллегориями, символикой. Главенствующая роль в этом жанре принадлежит действию, чувство может быть выражено как имплицитно, так и эксплицитно.

Обе жанровые модели, оперирующие во многом сходными приемами миромоделирования, порождают принципиально разные, полярные этические модели мира. Лирическая песня – мир нормы, мир должного, где сильно коллективное начало, частушка – мир индивидуальной реакции на событие, мир сущего, мир ломающейся нормы, в котором через отрицание, отторжение должного автор приходит к утверждению нормы. Два жанра предлагают два образа мира: мир понятий и мир вещей, мир «бытийного» и мир «бытового», представляющего в соединении двухуровневую картину мира; два способа миромоделирования; вследствие – два типа художественности: символичность, метафоричность, образный параллелизм в лирической песне, преобладание денотативной лексики в частушке.

Необрядовая лирическая песня выросла из обрядового текста, где слово – сакрально. Лирическая песня в разной степени (в зависимости от времени появления текста) сумела сохранить сакральность слова. В дальнейшем с развитием жанра, появлением новых жанров, например частушки, происходит десакрализация слова. Она приводит к развитию параллелизма и активному употреблению синонимов в соседних строках, что способствует «размыванию» границ значения фольклорного слова, господству гиперонима над гипонимом – характерная черта архаического фольклора, которая практически не сохранилась в современных жанрах. С развитием фольклора повторы, фразеологические обороты, синтаксические конструкции, поэтические средства – сравнения, постоянные эпитеты и метафоры воспринимаются как украшения, теряя ритуальный смысл.

Базовой чертой жанра является установка – ориентация текста в его жанрово-стилевых особенностях на тип речевой деятельности (Ю.Н. Тынянов). Главная установка фольклорных жанров – моралистическая, вторая – эстетическая – служит реализации первой. Модель мира, представленная в каждом жанре, призвана выстроить мир, реальность в соответствии с представлениями о ней в фольклоре.

Определяющими для понимания текста являются отношения текст – жанр. Но следует учитывать, что «существование жанра как объективно функционирующей системы со своим «ансамблем признаков» утверждает наличие некоей особой, не обязательно манифестируемой в текстовой конкретике художественной реальности» [Путилов Б.Н., 1995. С. 103]. Именно жанр, в отвлечение от текстов, отражает модель мира –

в той части, которая ему принадлежит. В текстах модель мира получает частичные воплощения, как целое она воплощается только в жанре.

ЛИТЕРАТУРА

- Лебедева О.Б.* Категория жанра как носитель миromоделирующих функций литературного текста // Картина мира: язык, философия, наука: Доклады участников Всероссийской школы молодых ученых (1–3 ноября 2001 г.). Томск: Изд-во ТГУ, 2001. С. 113–116.
- Неклюдов С.Ю.* Авантекст // <http://www.Folklore.Semiotic>.
- Путилов Б.Н.* Фольклор и народная культура. М., 1995. 200 с.
- Цивьян Т.В.* Модель мира // <http://www.Folklore.Semiotic>.

Раздел 2

ТЕКСТ КАК МИРОМОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

З.И. Резанова, М.В. Иваницкая

МЕТАФОРА В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОВАРНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ)

Когнитивный подход к изучению метафорических номинаций предполагает исследование их миромоделирующего потенциала, выявление специфических образных моделей мира, выраженных языковыми средствами. При таком подходе метафора мыслится не только как двусторонняя языковая единица, характеризующаяся особым типом организации семантики или как стилистическое средство, но как ментально-языковой механизм.

Как и все факты и явления языка, миромоделирующий аспект языковой метафоры может анализироваться в системно-языковом и текстовом аспектах. В первом случае выявляются метафорические поля в лексической и фразеологической подсистемах языка и совокупность смыслов, формируемая метафорическими внутренними формами соответствующих единиц.

При дискурсивном подходе к метафоре исследовательский интерес сосредоточивается на соотношении специфических механизмов метафорического отражения и регулирующих механизмов метафорической интерпретации фрагментов мира в различных типах дискурса [Арутюнова Н.Д., 1990; Чудинов А.П., 2001; Резанова З.И., Мишанкина Н.А., 2003].

Анализ дискурсивного использования языковых единиц предполагает выход за пределы текста как такового в сферу обуславливающей его рождение коммуникативной ситуации. Дискурс при этом интерпретируется как некое «сложное коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах производства и восприятия сообщения» [Дейк ван Т.А., 1989. С. 113].

Когнитивный анализ дискурса как некоего коммуникативного события предполагает, во-первых, анализ влияния разноплановых свойств участников коммуникации на ее течение и результат. Прежде всего, в фокусе внимания оказывается соотношенность ментально-речевых про-

цессов, «структуры представления знаний и способы его концептуальной организации», создание определенных ситуационных моделей [Караулов Ю.Н., Петров В.В., 1989. С. 9]. В основе моделей ситуации «лежат не абстрактные знания о стереотипных событиях и ситуациях – как в ментальных моделях, сценариях и фреймах, – а личностные знания носителей языка, аккумулирующие их предшествовавший индивидуальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции... Использование моделей объясняет, почему слушающие прекрасно понимают имплицитные и неясные фрагменты текстов – в этом случае они активизируют соответствующие фрагменты ситуационной модели...» [Караулов Ю.Н., Петров В.В., 1989. С. 9].

Второй аспект анализа дискурсивной деятельности коммуникантов – выявление формируемых ими коммуникативных стратегий: «Основной принцип стратегического подхода заключается в отборе наиболее значимой в данном контексте и для данных коммуникантов информации» [Караулов Ю.Н., Петров В.В., 1989. С. 10].

В определении стратегии развертывания дискурса целеполагание должно рассматриваться в качестве ведущего фактора. Своеобразие прежде всего этого признака является основой обособления рекламного дискурса и его тематической дифференциации. Инвариантным признаком целеполагания рекламы как особого типа дискурса является иерархия целей: основной целью порождения рекламного текста является воздействие на адресата для побуждения его к определенным действиям: покупке, голосованию, совершению определенных социально значимых поступков и т.д. Побудить к действию – выработать отношение – информировать – такова иерархия целей любого типа рекламы вне зависимости от вида рекламируемого продукта (в широком смысле этого слова) и адресной группы. Адресат рекламной коммуникации информируется и подвергается эмоциональному воздействию (создается некий образ рекламируемого «продукта») для побуждения к действию. Виды рекламного дискурса дифференцируются по различию сфер социального действия, в которых регулируется поведение адресата: выделяются торговая, научная, политическая, социальная, религиозная реклама (Ф.Г. Панкратов, У. Уэллс, Дж. Бернет).

В нашем исследовании мы анализируем тексты торговой рекламы, под которой понимается «целенаправленное распространение информации о потребительских свойствах товаров..., предпринятое для создания им популярности» [Панкратов Ф.Г. и др., 1999. С. 10]. Как видим, автор выделяет два аспекта целевой направленности торговой рекламы – информирование и формирование положительного отношения к рекламируемому продукту, полагаем, однако, что в этом определении остался не

отмеченным существенный параметр целеполагания – побуждение к совершению покупки. Подобная иерархия целей определяет необходимость особой организации смысла, соединение в построении рекламного текста логико-дискурсивной стратегии и стратегии внушения. Процесс *суггестии* всегда ведёт к созданию особого психического состояния восприимчивости, когда человек готов к усвоению особой информации, способной без принуждения изменить его установки, т.е. устойчивые формы реагирования.

Из приведенных выше определений дискурса, в том числе и рекламного, вытекает абсолютная значимость фактора адресата. Построение ситуационных моделей и поиск стратегий развертывания текста в дискурсивном анализе не может интерпретироваться только как характеристика ментально-речевой деятельности говорящего, автора коммуникации, так как коммуникация развертывается как процесс его актуального или виртуального взаимодействия с адресатом. Более того, «дискурс предполагает и создаёт своего рода *идеального адресата*», который «принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдиалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все пресуппозиции» (П. Серио, цитируется по: [Степанов Ю.С., 1995. С. 42]).

В последнее время в дискурсивном анализе все большее внимание уделяется выяснению фактора среды осуществления дискурса, влияния специфики технических, опосредствующих механизмов осуществления коммуникации на варьирование базовых свойств текста. Совершенствование технических средств передачи информации – одно из условий поступательного развития нашей цивилизации: «Сколь ни распространяли бы мы круг наших сведений, потребность в информации будет развиваться, обгоняя темп нашего научного прогресса. Следовательно, по мере роста знания незнание будет не уменьшаться, а возрастать. А деятельность, делаясь более эффективной, – не облегчаться, а затрудняться. В этих условиях недостаток информации компенсируется ее стереоскопичностью – возможностью получить совершенно иную проекцию той же реальности – перевод ее на совершенно другой язык» [Лотман Ю.М., 1996. С. 14]. Актуализируется эта проблема под воздействием активно вовлекаемых в языковое существование современного человека новых типов дискурса, в первую очередь телекоммуникаций.

Значимость фактора среды коммуникации в дискурсивной практике ярко обнаруживается хотя бы в том, что в настоящее время предметом активного осмысления, активного обсуждения является виртуальный дискурс. Как отмечает В.З. Демьянков, «дискурс... определяется не

дискурс. Как отмечает В.З. Демьянков, «дискурс... определяется не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который "строится" по мере развертывания дискурса...» [Демьянков В.З., 1982. С. 7]. Общй мир, формируемый в среде компьютерной коммуникации, определяется в настоящее время как «виртуальный», осознаваемый как некий новый мир – «виртуальная реальность» (ВР). Существенно важным представляется, во-первых, понимание механизма формирования этого феномена, осознание того, что ВР – это некая информационная среда, созданная посредством творческой активности воображения [Ладов В.А., Мишанкина Н.А., Резанова З.И., 2003], во-вторых, учет отношений этой «второй реальности» с базовой: эти отношения могут быть обозначены как отношения имитации – «виртуальный» может пониматься как "имитированный под реальность"» (Г.Н. Трофимова).

Взгляд из пределов виртуальной реальности компьютерных коммуникаций на более привычные сферы коммуникации позволяет вскрыть их виртуальную сущность [Ладов В.А., Мишанкина Н.А., Резанова З.И., 2003], в том числе несомненна виртуальная природа телекоммуникаций, и это ее свойство ярко проявляется и в анализируемом нами объекте – телевизионном рекламном ролике. Создание некоего второго мира, мира второй реальности проявляется в создании системы образов первичной реальности¹.

Таким образом, исследуемый нами дискурс может быть по одному параметру определен как рекламный, по другому – как виртуальный, как некая информационная среда, создающий особый мир образов первичной реальности.

Важнейшими следствиями фактора среды осуществления дискурса, зависимости дискурсивной практики от применяемого технического средства – носителя информации – является варьирование средств создания формируемых образов «первичной реальности». В данном случае речь идет прежде всего о варьировании формы осуществления языка: первичной – звуковой или вторичной – графической. Определенные средства дают возможность осуществления одной формы, например, радионная реклама может использовать потенциал звуковой

¹ Выделение виртуального дискурса как некоего текстового единства происходит на основе доминирования признака среды осуществления коммуникации, влияющего на актуализацию особых свойств других компонентов коммуникативного процесса, прежде всего на положение участников коммуникации, особенности их вербальной и паралингвистической деятельности, что проявляется в своеобразии текстовой структуры. Этот аспект виртуальной дискурсивной практики представляется чрезвычайно важным, но в пределах данной статьи не обсуждается.

вой формы воплощения языка, газетная – графической, телевизионная и электронная допускают возможность их соединения.

Во-вторых, смена носителя информации приводит к варьированию возможностей использования языкового, текстового потенциала в соединении с возможностями других типов семиотических систем. Телевизионная и электронная среды коммуникации в настоящее время являются наиболее синтетичными, допускающими, по сравнению с другими, наибольшее количество включений потенциала разного типа семиотических систем: естественного языка (в его звуковой и графической формах), музыки, цвета, костюма, действия и т.д. С.В. Светана отмечает: «Природа телевидения такова, что информация может быть передана в разных системах знаков, в результате сцепления разных семиотических элементов» [Светана С.В., 1980. С. 179]. При этом, как отмечал Ю.М. Лотман, анализируя семиотику кинематографа, это не механическое соединение различных типов знака, а «синтез, вырастающий из драматического конфликта, из почти безнадежных, но никогда не прекращающихся попыток добиться новых средств выразительности» [Лотман Ю.М., 1996. С. 14]. В связи с этим закономерен вопрос о приоритете какой-либо из знаковых систем внутри всего семиотического единства. С.В. Светана, занимающаяся исследованием телевизионной речи, выделяет разные типы взаимодействия видео- и словесного рядов: они могут дублировать друг друга (чтобы усилить впечатление), иногда видеоряд даёт исчерпывающую информацию, и тогда слова не нужны. Однако более частотна в телевидении ситуация, когда «изображение служит лишь фоном, на котором звучат слова. Идею даёт слово, а изображение лишь помогает понять эту идею» [Светана С.В., 1980. С. 198]. И все же хотелось бы подчеркнуть синтетичность действия совокупности семиотических систем при ведущей роли семиотики естественного языка во всех перечисленных выше информационных системах, в том числе и телевизионной. В результате при восприятии информации, передаваемой через посредство этих информационных средств, возникает некритичная подмена «реальной реальности» ее виртуальным аналогом вследствие значительной степени приближенности образа к его внешнему аналогу. Эта особенность отмечалась относительно кинематографа: «...кинематограф способен с высокой степенью точности и детальности моделировать визуальные и аудитивные характеристики поведения человека и мира в целом. Знаковая система кинофильмов внушает свою прозрачность, она как бы исчезает, «растворяется» и вызывает, таким образом, эффект аналогичный прямому контакту с реальностью» [Марш П., 2000. С. 248].

Итак, рекламный дискурс может быть охарактеризован как дискурс с особой иерархией целеполаганий: побудить к действию относительно рекламируемого объекта, для этого определенным образом оказать воздействие на адресата, это воздействие осуществляется особой организацией информации. Передача информации осуществляется как формирование некоего образа моделируемых фрагментов «реальной реальности», при этом в центре моделирующей деятельности авторов «виртуальной реальности» рекламного дискурса находятся образ рекламируемого объекта и образ потребителя информации, потребителя рекламируемого продукта. Рекламный дискурс может опираться на возможности разных технических опосредствующих средств коммуникации, создающих возможность комбинирования потенциала различных семиотических систем при создании формируемых образов. Система целеполаганий дискурса является основанием особого запроса к информационным, образным, суггестивным возможностям семиотических систем.

В пределах данной статьи мы обсуждаем вопрос о специфике функционирования языковой метафоры в жанре телевизионной товарной рекламы, характеризуя те особенности ее функционирования, которые обуславливаются общей целевой направленностью рекламного текста и воздействием фактора среды протекания коммуникации – телевидения, создающего возможность взаимодействия различных семиотических систем.

Интегрирующие признаки выделяемой категории языковой метафоры – когнитивный тип обработки информации (процесс отождествления / уподобления явлений, относимых интуитивным знанием к разным классам единиц), тип семантической структуры (сдвоение образов, взаимно фокусирующих друг друга), выраженность языковыми средствами, – объединяют чрезвычайно разнообразное поле конкретных речевых манифестаций, способных отвечать различной конфигурации целеполаганий в разных типах дискурса. Особенности смысловой структуры метафорической номинации – сочетание логического и образного – обеспечивают специфику ее дискурсивных «виртуализирующих возможностей».

Доминирование воздействующей, побуждающей функции рекламного дискурса обуславливает особое сочетание логического и суггестивного в рекламном тексте. Как свидетельствует анализ, товарная телевизионная реклама реализует две доминирующие концепции рекламирования: стратегию рационального воздействия и стратегию эмоционального воздействия.

Стратегия рационального воздействия состоит в том, что рекламный текст строится таким образом, чтобы, во-первых, убедить по-

требителя в полезности товара и необходимости совершения покупки, во-вторых, сделать это с помощью логических доводов (т.е. доказать, что товар сможет решить реально возникшую проблему). **Стратегия эмоционального воздействия** предполагает коммуникативную ориентацию на нелогическое восприятие со стороны потребителя, на суггестивное воздействие и состоит в придании товару социально-психологической значимости и формировании эмоционального фона восприятия товара. Каждая из стратегий реализуется определенным составом тактик, характеризующихся особым отбором языковых средств построения текста, их специфическим комбинированием. Отметим, что противопоставленность стратегий создается преобладанием вариантов целеполаганий, но не их исключительным проявлением.

Отмеченная семантическая и когнитивная специфика метафорической номинации, заключающаяся в особом сочетании логического и образного, логического и мифологического в смыслах, метафорой формируемых, является основанием использования метафорических единиц при реализации и той, и другой коммуникативных стратегий. При этом в каждой из стратегий формируется особый заказ на использование определенного типа метафор.

Как показал анализ телевизионной торговой рекламы¹, в текстах используются метафоры номинативные (*Tide бережно борется с въевшимся серым налетом*) и характеризующие (*Silit извести и ржавчину удалит без труда. Блестящее решение каждый день*); генетические (*Silit извести и ржавчину удалит без труда. Блестящее решение каждый день*) и живые, образные (*Яркий вкус «Нико» ты попробуй, станет ярче жизнь*); узуальные и окказиональные (*Snikers. Не тормози! Сникерсни!*; *Fanta. Вливайся. Nuts. Заряди мозги, если они есть!*); литературные (*Я точно знаю цель. Я не привык сворачивать. Ауди-4. Автомобиль нашего круга*) и сленговые (*Mirinda. Оттянись со вкусом; Fanta, вкус ягод. Оторвись с друзьями*).

Тексты телевизионной рекламы обнаруживают также и многообразие частных функций использования метафор. Особенности функционального потенциала метафорической единицы определяются свойством семантической двуплановости, наличием своего рода двух сознаний в структуре метафорического значения: собственно метафорического, производного, результативного значения и прямого значения номинативной единицы, выступающего в качестве исходной, мотивирующей базы целостного метафорического образа. В «обычном» употреблении

¹ Были проанализированы телевизионные рекламные ролики, транслированные в 2000 году на каналах ОРТ, «Россия», НТВ.

исходное значение выступает в качестве своеобразного фона, основания образного смысла формируемого номинативного значения, создавая, по определению В.Н. Телии, «образы-квазистереотипы»: «Глупость привычно ассоциируется с образно-ассоциативными представлениями о баране, осле, дубе, а смелость – об орле, соколе, медленное движение – с ползанием, а быстрое – с летом, все никчемное – с представлением о развале, дряхлости и т.п.». [Телия В.Н., 1988. С. 51].

Случаи такого типа семантической актуализации метафорических смыслов в рекламных текстах частотны. Так, например, метафоры-олицетворения регулярно используются при рекламировании различного рода моющих, чистящих, косметических средств в целях формирования образа активности товара. Используются глаголы и отглагольные производные, в исходном номинативном значении называющие действия, выполняемые человеком: *Tide бережно борется с въевшимся серым налетом. Old Spice настолько уверен в себе, что даёт гарантию. Он обеспечивает надёжную защиту на весь день. Old Spice выдержал испытание. Domestos – главный защитник в доме. Prill – победитель жира. Mortein убивает насекомых быстрее, чем другие средства, защищает дольше.*

Применение метафор-олицетворений весьма характерно при формировании текстов, реализующих общую стратегию рационального воздействия. При этом использование метафорических номинаций интерпретируется нами как вплетение элементов суггестивной стратегии в общую концепцию рекламирования, основанную на преобладании способов рационального воздействия. Метафоры служат средством создания образа ситуации – ситуации использования рекламируемого товара. Так, например, ролики, рекламирующие моющие, чистящие средства, средства защиты, с помощью метафорических номинаций моделируют объективную ситуацию (избавление от грязи, жира и т.д.) в метафорическом образе войны двух противников: врага (грязь, жир) и защитника (моющее средство) потребителя товара. Первая сторона – враг – представлена в рекламе пассивно, т.к. она уже сделала своё дело, навредив потребителю своим появлением к моменту происходящего в ролике действия. Вторая сторона, представленная рекламируемым средством, активна, ее действия направлены на уничтожение врага (*борется, убивает*) и защиту (*защищает*) потребителя продукции. Как и в любой войне, в моделируемой ситуации есть свои победители – рекламируемые продукты. Моделирование ситуации войны находит воплощение в разных подтипах тактик: актуализируется активность действия товара (*борется, защищает*), процесс действия или результат

(защита, победа), в третьем – субъект действия, уже совершивший его (защитник, победитель).

Образ товара-защитника характерен и для рекламы косметических средств: *«Приятно, когда тебя любят. После Dove именно такое ощущение, что кто-то о тебе уже позаботился».*

В данном случае мы наблюдаем непосредственное участие метафор в создании образа товара, его доминантной черты – деятельности: борьбы с врагом и защиты потребителя, образ которого моделируется опосредствованно, как образ человека, оберегаемого в борьбе с бытовыми проблемами рекламируемым средством.

Побуждение к действию – покупке товара – может реализоваться через тактику создания образа результатов действия товара. Моделируется образ жизни потребителя товара, который возникает под воздействием рекламируемого товара. Доминантные признаки метафорически моделируемого образа жизни: легкость, яркость. По отношению к целевой аудитории домашних хозяек моделируется легкость преодоления бытовых трудностей, что делает легкой жизнь вообще: *«Изменить свою жизнь легко. Понимаешь, что счастье – это сейчас. Столько нового можно попробовать. Может, масло «Мечта хозяйки» мне своей лёгкостью и нравится. Вкус к такой жизни чувствуешь».* В рекламном тексте соотносятся переносные метафорические значения синтаксических дериватов прилагательного *легкий* – категории состояния *легко* и существительного *легкость*. Соотносимыми оказываются качество товара, качества жизни и характеристика возможности достижения качества жизни (*легкость* масла – это, с одной стороны, качество продукта – «не вызывающий тяжести в желудке, без труда перевариваемый»¹, с другой – качество жизни, ощущений, чувства человека – «ощущение приподнятости, бодрости, прилива сил, желания деятельности», «чувство свободы, отсутствие каких-либо стеснений, ограничений», с третьей – метафорически характеризуется и возможность обретения такого состояния в жизни – *легко*, «не причиняя затруднений, мучений, неудобств». Обретение состояния *легкости, легкость (простота)* достижения такого состояния в метафорически моделируемом образе ситуации опосредствуются потреблением *легкого* продукта. Таким образом, моделирование ситуации в тексте рекламного ролика основывается на соотносении метафорических значений ключевых слов, создающих основу моделируемой ситуации жизни. Выраженная в соотносении метафор связь *легкость продукта – легкость жизни – легкость обретения этого состояния* поддерживается средствами других семиотических

¹ Значения даются по: Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985 – 1988.

систем: видеоряд изображает женщину, использующую продукт и ведущую активный, динамичный образ жизни.

Такой же принцип моделирования образа жизни в результате потребления рекламируемого продукта реализован в рекламе сока «Нико», построенной с ориентацией на молодежь как целевую группу потребителей. В тексте также метафорически моделируется ситуация, в которой оказываются соотносёнными свойства товара и свойства обретаемой жизни, достижение чего становится возможным при потреблении продукта. В данном случае текст выстраивается на соотношении двух значений прилагательного *яркий*: *«Яркий вкус «Нико» ты попробуй, станешь ярче жизнь. «Нико»»*. Рассмотрим метафорические смыслы в данном тексте. Прилагательное *яркий* характеризует качество товара, его *вкус* и *качество жизни*. В рекламном тексте актуализируется метафорическое значение прилагательного *яркий* «выдающийся в каком-либо отношении». Это значение конкретизируется при сочетании с именами существительными *вкус* и *жизнь*, *яркий вкус* означает отличающийся по своему составу, вкусовым характеристикам сок, *яркая жизнь* – жизнь, наполненная яркими впечатлениями, событиями. Качества жизни и сока, их признаки моделируются через признаки исходных номинативных значений прилагательного *яркий*: 1) очень сильный, ослепительный свет; 2) отличающийся чистотой и концентрированностью (о цвете). Актуализация образа поддерживается сюжетом и цветовым решением рекламного ролика: яркая одежда танцующего коллектива и серо-чёрная одежда жюри. Видеоряд рекламы призван, прежде всего, подчеркнуть противопоставленность молодёжного сообщества совершенно чуждой ему социально-психологической группе пожилых людей в жюри. Молодые люди занимаются делом, которое им по душе, от которого они получают удовольствие. Их жизнь наполнена яркими красками, впечатлениями. Комиссия в ролике скучна и безлика. Видеоряд изображает танцующий перед комиссией коллектив с девушкой-солисткой. Сюжет ролика заимствован из видеоклипа известной английской поп-певицы Gerri Halliwell на песню “It’s raining man”. В самом начале песни девушка падает, но затем, начав заново песню, она хорошо танцует, к ней подтягивается остальной коллектив. Во время танца солистка подбегает к жюри и берёт со стола рекламируемый сок, танцует с ним. Строгая комиссия в конце встаёт, танцует и аплодирует. Цветовое решение ролика – это яркие, насыщенные цвета костюмов танцоров и серо-чёрная одежда жюри. Комиссия скучна и безлика, но, согласно формируемому образу, всё можно изменить с помощью рекламируемого сока и его *яркого вкуса*.

Как видим, один из типичных способов использования метафор в рекламном тексте – актуализация одновременно нескольких переносных значений лексемы, актуализирующих несколько соотнесенных образов, что служит одним из способов суггестивного, непрямого воздействия на адресата. Важным средством поддержания скрытого эффекта воздействия рекламного текста служит видеоряд.

Весьма распространенный прием использования текстового смыслового потенциала метафорической семантики – создание контекста, одновременно актуализирующего исходное, номинативное, и метафорическое значения. Соединенность актуализаций разных значений одного слова в одном контексте выступает знаком соединения двух образов. Рассмотрим в качестве примера текст рекламы краски для волос *Impressia plus: Краска для волос Im. ressia plus – палитра хорошего настроения*. В рекламном тексте актуализируется одновременно два значения слова *палитра*. Исходное прямое номинативное – «совокупность красок, красочных сочетаний», актуализация этого значения происходит вследствие «правой» синтагматической связи со словосочетанием *краска для волос* и поддерживается с помощью видеоряда, изображающего женщин с разным цветом волос. Метафорическое значение «разные оттенки эмоционального состояния» актуализируется вследствие «левой синтагматической связи» с распространителем *палитра хорошего настроения*. Этот смысл также поддерживается видеорядом женщин, не только меняющих цвет волос, но и излучающих разные оттенки радости и удовольствия. Соотнесенность этих значений, их актуализация разными вербально-смысловыми частями текста приводит к свособразному эффекту «наведения» причинно-следственных отношений: палитра красок, ее применение обуславливает появление в жизни потребителя красок палитры хорошего настроения.

Спектр функционального распределения между словесным и видеорядом в рекламном ролике достаточно разнообразен. Использование определенным способом ориентированного видеоряда позволяет направить ассоциативные связи, задаваемые текстом, в определенном направлении. Так, в тексте может содержаться лишь намек на устойчивую языковую единицу с метафорическим значением, например, в тексте рекламного ролика пива «Красный Восток» **«Красный Восток» крепко ударяет** глагол *ударяет* отсылает к устойчивому выражению *ударить в голову*, имеющему узуальное значение «о быстром опьянении, вызывающем сильное возбуждение, неожиданные поступки и т.д.». Варианты видеорядов этой рекламной серии способствуют актуализации этого значения, выстраивая варианты совершения «неожиданных поступков», вследствие «сильного возбуждения» в результате «быстрого опьяне-

ния». В одном из роликов, например, он изображает мужчину, пьющего пиво за столиком в кафе. Он смотрит на девушек, которые моют в этот момент окно (со стороны улицы). Мужчине начинает казаться, что девушки танцуют, распускают волосы, со страстью смотря на него. Он встаёт из-за стола, бежит к окну, ударяется об него и видит, что девушки на самом деле спокойно моют окно. Таким образом, состояние героя ролика, вызванное употреблением пива, действительно ведёт к *сильному возбуждению и неожиданным поступкам*, которые отмечены в значении фразеологизма и зафиксированы в видеоряде.

Один из достаточно распространенных способов использования смыслового потенциала метафорической номинации в рекламе – создание контекстов, допускающих двойное прочтение смысла, основывающегося на актуализации двух типов непрямых значений – метафорического и метонимического одновременно. Например, в рекламном тексте «Старый мельник» – *душевное пиво* прилагательное *душевное* прочитывается как метафора-олицетворение, наделяющая пиво свойствами «добрый, чуткий, отзывчивый», то есть создается образ рекламируемого продукта, имеющего качества человека, в котором потребитель видит друга, способного отозваться на его проблемы и помочь. Но одновременно с помощью видеоряда актуализируется и другой смысл, основанный на метонимическом механизме смыслообразования: пиво названо *душевым*, потому что оно способствует созданию душевной обстановки, беседе людей, которые его пьют. Два аспекта сдвига референции работают в одном направлении, рождают множество эмоциональных ассоциаций. На этом же способе совмещения метонимического и метафорического референциального сдвига, приводящего к рождению широкого спектра эмоциональных ассоциаций, строится реклама пива «Купеческое»: *«Наша дружба проверена временем. Даже пиво мы любим одно и то же: толковое, свойское, мировое. Пиво «Купеческое». Гордись прошлым, цени настоящее»*.

Как видим, в данном случае одновременная текстовая актуализация разных смысловых слоев одной номинации служит средством стратегии суггестивного воздействия. Нерациональное, некритичное восприятие продукта в направлении, необходимом рекламисту, задается через механизм отождествления положительного образа товара и положительно-го образа жизни потенциального потребителя продукции, возникающего при условии потребления товара. Речевая основа такого отождествления – текстовая актуализация переносных смыслов метонимического и метафорического типов.

На весьма разнообразных смысловых сдвигах ключевого слова рекламного текста построен текст рекламного ролика бульона «Магги»: У

меня золотые дети. У меня золотой муж. У меня золотая свекровь. У меня золотой бульон «Магги». Эффект суггестивного воздействия выстраивается на столкновении двух узуальных метафорических значений прилагательного *золотой*: 1) «совершенный, превосходящий других», 2) «цвета золота» – и формируемого в смысловом взаимодействии текста и видеоряда окказиональным значением этого же прилагательного: 3) «делающий других совершенными». Метафорические значения прилагательного *золотой* «цвета золота», «превосходный, совершенный», создающие положительный образ рекламируемого продукта, в пространстве рекламного текста соотносятся с образами потенциальных потребителей продукта, образом их жизни. Видеоряд, представляющий ситуацию образа жизни потенциального потребителя продукта до (балуются дети, неловкий муж роняет полку с вещами, строгая свекровь смотрит на часы, намекая на время ужина) и после (счастливое, умиротворенное семейство) использования товара, является контекстом, актуализирующим внутритекстовое окказиональное значение ключевого слова – «делающий других совершенными».

Таким образом, метафора выступает в рекламном тексте в качестве одного из средств реализации стратегии суггестивного воздействия. Одна из ведущих тактик при этом – наложение позитивных образов товара и образа жизни потребителя товара, определяемого его использованием, что создает условия для их некритичного отождествления. Метафорическая номинация создает условия для подобного текстового условия вследствие двойственности смысловой структуры, возможности контекстной актуализации исходного и результирующего значения как порознь, так и в синтезе. Прочитывается подобный многозначный текст при условии активного семиотического действия видеоряда. Анализ метафор рекламного дискурса позволяет сконструировать образ «идеального адресата», потребителя рекламной продукции в различных целевых группах, идеального адресата, который «принимает все presupпозиции каждой фразы» (П. Серио). Образы идеальных адресатов в единстве с образами идеальных товаров и создают основу виртуального мира рекламного дискурса.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
- Дейк ван Т.А. Анализ новостей как дискурса // Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста // Методы анализа текста. Вып. 2. Всесоюз. Центр переводов. Тетради новых терминов, 39. М., 1982.

Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Ладов В.А., Мишанкина Н.А., Резанова З.И. Виртуальность естественного языка в формировании «новой» виртуальной реальности // Открытое и дистанционное образование. 2003. № 2 (10).

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996.

Марш П. Многоязычная коммуникация и кинофильм // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.Х., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность. М., 1999.

Резанова З.И., Мишанкина Н.А. Метафора в виртуальном дискурсе (на материале чатов) // Естественная письменная речь.

Светлана С.М. Телевизионная речь // Язык и стиль СМИ и пропаганды. М., 1980. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой: В 4 т. М., 1985 – 1988.

Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.

Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1988.

Трофимова Г.Н. Виртуальный обман зрения // http://www.gramota.ru/mag_arch.html?id=41.

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург, 2001.

Н.А. Мишанкина
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
САУНДШАФТА РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Когда обычный человек берет в руки книгу и погружается в виртуальное¹ пространство, выстраиваемое текстом, он менее всего задумывается о том, что это пространство каким-то образом создано. Равно как и писатель, творящий виртуальное пространство художественного произведения и погруженный в него, тоже не часто задумывается о том, а как же оно получается, действуя интуитивно. При этом пространство художественного произведения, создаваемого писателем (креативное), и пространство произведения, воспринимаемого читателем (интерпретативное), не являются тождественными. И связано это, в первую очередь, с ограничениями языкового отражения: язык – это та коммуникативная система, которая связывает человека с миром, как всякая система, она задает некоторое членение мира, накладывает дискретную сетку значений на континуум смыслов, но восстановленный при интерпретации смысловой континуум всегда не равен исходному.

Художественная ценность виртуального пространства произведения определяется его смысловой «плотностью»: с одной стороны, уровнем реализации в вербальном знаке личностных авторских смыслов, делающих художественный текст высказыванием, придающих ему коммуникативный статус. С другой стороны, ценность задается не только личностным пафосом (ведь каждому есть что сказать), но и умением создать такую вербальную сеть, которая бы максимально реализовала смысловой континуум, актуализируя не только интенциональные смыслы, но и бессознательные телесные чувственные образы, создавая условия максимального правдоподобия виртуального пространства. Ведь именно телесность, по мнению О. Власенко, «гарант и определитель постоянства присутствия нас в качестве таковых... именно сенсорное восприятие

¹ Мы опираемся на определение виртуализации как «любого замещения реальности ее симуляцией / образом – не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с применением логики виртуальной реальности» [Иванов Д.В., 2002. С. 23].

определяет характер фактичности. Или, скажем так, телесность – это индикатор присутствия». И более того, «стимулировать восприятие, заставить чувствовать как реальное то, что не является таковым, – задача современной технологии ВР-систем», – считает О. Власенко.

Почему вообще возможно совпадение креативного и интерпретативного пространств текста? Философ О. Розеншток-Хюсси задал модель экзистенциальной ориентированности человека, пребывающего в центре «*креста реальности*»: соединяющего одновременно прошлое человека с его направленностью в будущее, а также сочетающего обращенность к миру с саморефлексией [Тюпа В.И., 1996. С. 18–19].

Если мы взглянем через призму этой модели на языковое сознание и языковую способность, то увидим, что язык отражает эту же экзистенциальную ориентированность: заданность языка, его «готовность», включающая и архетипический бессознательный пласт, связывают человека с прошлым / две основные функции языка (коммуникативная и когнитивная) есть направленность вовне, к миру / языковое сознание отдельного носителя языка, саморефлексия языка есть направление вовнутрь / способность к языковому творчеству, креативности – это направленность в будущее.

И если мы можем рассматривать текст художественного произведения как новую виртуальную реальность, созидание нового мира, то в этом случае у творца и у интерпретатора текста есть общее языковое прошлое, готовые языковые смыслы, та картина мира, моделирующая восприятие, которая задается общим для них языком.

Исследования в области человеческой психики позволяют говорить о том, что системность восприятия мира человеком выражается уже на ранних стадиях: ребенок реагирует на любой раздражитель как на элемент некоторой системы координат, которая и выступает основой для дальнейшего развития. По мере становления человеческой личности и вхождения ее в языковую среду иерархическая структура мировосприятия усложняется и из системы первичных реакций развивается в интерпретативную модель действительности, необходимую для нормального существования человека в мире. Такую модель восприятия, существующую в сознании, в современной литературе принято называть концептуальной картиной мира (ККМ). Исходя из положения о том, что язык, как наиболее совершенный инструмент коммуникации, фиксирует весь психический опыт человечества, предположим, что концептуальная картина мира некоторой языковой общности находит свое отражение в ее языковой картине мира (ЯКМ), в которой оказывается зафиксированным весь путь развития такой общности, по-

этому и становится возможным гипотетическое выделение хронологических пластов в ЯКМ.

Мы полагаем, что могут быть выделены следующие пласты.

1. **Досознательная часть** модели мира отражает наиболее ранний период развития человечества. К.Г. Юнг определяет эту часть как коллективное бессознательное: «Формами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туманной древности, в чем обычно не отдают себе отчета» [Юнг К.Г., 1997. С. 121].

Гипотезу о существовании в ККМ досознательного пласта подтверждает и тот факт, что все, связанное с деятельностью сознания, вызывает рефлексию, требует логического обоснования, может быть подвергнуто сомнению и критике. Но, как отмечает В.И. Поставалова, важнейшей особенностью ККМ является ее безусловная *внутренняя достоверность* для субъекта [Поставалова В.И., 1988. С. 46].

2. **Бессознательная часть** – следующий этап развития базовых моделей, их культурное преломление. Система социальных, конвенциональных реакций на явления действительности, которая задается с раннего детства и во многом обусловлена языком, зафиксировавшим изначальное моделирование мира. «Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов» [Юнг К.Г., 1997. С. 121].

3. **Осознанная часть** – выявленные при сопоставлении различных ККМ бессознательные модели мировосприятия: индивидуальная ККМ противопоставляется общенациональной в процессе личностного становления индивида, межкультурная или межнациональная специфика мироимоделирования выявляется в ситуации межкультурного, межэтнического диалога.

На современном этапе о связи языка и мифа говорят многие исследователи, в частности, Э. Кассирер пишет о существовании двух принципиально различных типов мышления: а) дискурсивно-логическом; б) лингво-мифологическом, – относя язык к базовым метафорическим сущностям, вобравшим в себя глубинные мифологические структуры [Кассирер Э., 1990. С. 38].

Мифологическое может быть воплощено в языке различными способами, одним из таких способов является метафора. Мы полагаем, что метафора основывается на мифологическом элементе мышления современного человека, исходя из того, что сходство между явлениями действительности улавливается интуитивно, иррационально, вне логики. Именованное объекта с помощью уже «готовой» единицы возможно только при условии интуитивного установления сходства между двумя объектами, восприятие которых вызывает сходные ассоциации.

К.Г. Юнг считал ассоциации явлением, аналогичным первобытным идеям, мифам, «интегральной частью бессознательного» [Юнг К.Г., 1997. С. 121]. Интуитивное чувствование мира – поток образов, а не понятий – лежит, по Юнгу, в основе мифологического мышления. Э. Кассирер также отмечает: «Можно представить себе метафору как сознательный перенос названия одного представления в другую сферу <...> Если попытаться проникнуть в причины такой замены <...>, то при этом мы вернемся к основному способу мифологического мышления и переживания» [Кассирер Э., 1990. С. 38]. Таким образом, в метафоре, как в модели, могут быть отражены архетипические структуры, формирующие глубинный пласт ККМ.

Наличие логического компонента, осознание принципиальной нетождественности явлений и создает *двуплановость* метафоры. Аргументируя сказанное, можно говорить, во-первых, о том, что при метафорическом переносе, как правило, задействован труднорасчленимый комплекс признаков, относящихся к разным способам восприятия (– *Чи воны нас выучить, чи мы их разучимо, – вдруг ответило знамение (Явдоха), сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Но-ноги-то – а-ах!!» – застонало в голове у Василисы*). Во-вторых, признаки, которыми сходны объекты метафорического переноса имени, осознаются и могут быть названы только *post factum*, после акта именования.

Дж. Лакофф, М. Джонсон говорят о том, что метафора является базовым принципом миромоделирования, опираясь на мифологический, дологический пласт ККМ. Это общекогнитивный принцип: «Мы утверждаем, что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути... действие метафоры не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны... Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека» [Лакофф Д., Джонсон М., 1990. С. 387]. И языковая метафора есть отражение метафоры когнитивной, анализируя ее, мы получаем возможность исследовать когнитивную модель интерпретации того или иного фрагмента действительности носителями языка.

Таким образом, метафорическое выражение способно передать некоторое архетипическое содержание посредством опоры на наглядно-чувственный образ. М.А. Пацева считает, что «первый момент репре-

зентации значения в сознании – это образ ситуации» [Пацева М.А., 1990. С. 67]. На основе этого мы можем предположить, что процесс метафоризации – это совмещение образов нескольких ситуаций, в самом простом случае – двух, одну из которых можно назвать исходной. Именно этот образ носит наглядно-чувственный характер.

Семантическая структура звукоподражательной метафоры еще более усложнена. В работе И.Г. Рузина [Рузин И.Г., 1993], посвященной анализу семантики звукоподражательной лексики, говорится о том, что роль *внутренней формы* ономотопа выполняет *фонетический комплекс*, непосредственно отражающий природу именуемого звучания. Таким образом, звукоподражательная единица не только именуется определенным акустическим тип, но и воссоздает его непосредственно. При метафоризации семантика звучания может не быть актуализирована, но звукообраз исходной ситуации поддерживается звукообразом, воплощенным в фонетическом комплексе слова. Употребление звукоподражательной лексики, и метафоры в том числе, позволяет создать саунд-шафт – звуковой фон произведения. Кроме того, звукоподражательная метафора оказывает «двойное» воздействие: во-первых, внутренняя форма такой метафоры непосредственно оказывает влияние на сферу бессознательного; во-вторых, репрезентируя образ исходной ситуации, звуковая метафора апеллирует к эмоциональной сфере человека.

Анализируя метафору, мы можем сделать явными связи, установленные мифологическим сознанием между объектами действительности. Например, через звучание животных по преимуществу характеризуется поведение человека, через речевое вербальное звучание человека – сфера неодушевленного: звучание, связанное с такими объектами, как вода, деревья. Такой анализ позволяет установить иерархию объектов действительности через *оценочные смыслы*, актуализированные (или, напротив, не актуализированные) при метафорическом переносе.

Исследование метафорического восприятия звучания позволяет представить пространственную модель восприятия мира, ориентированную по *вертикальной* (*гром, звучание птиц – звучание земных объектов*) и *горизонтальной* оси. В горизонтальном пространстве вычленяются несколько подпространств, по-разному оцениваемых человеком: сфера дома – к этой сфере относится звучание человека и некоторых домашних животных (*кошка*), музыкальное звучание. На периферии этой сферы находится звучание артефактов, близких по акустике к параметрам звучания человеческого голоса (*звон*), и звучание неопасных, пассивных натурфактов (*вода, деревья*). Эту сферу можно назвать *сферой взаимодействия*. Другая сфера – *сфера одностороннего воздействия* (со стороны человека) – охватывает такие объекты, как дворовые

животные. К периферии этой зоны относятся насекомые, такие животные, как собака и змея. Третья *сфера, не попадающая под воздействие человека* и воспринимаемая им как опасная, охватывает звучание диких животных, неодушевленных объектов. Центром этой иерархической системы является человек, который, в свою очередь, собственное звучание представляет как некий микрокосм, моделируя человеческую реальность как реальность внешнюю.

Русский писатель, говорящий и пишущий по-русски, вольно или невольно остается в рамках картины мира этого языка и может лишь напярять, сделать более зримыми, выразительными отдельные ее моменты, используя потенции своего языка. Он как бы вытирает пыль со значений старых слов и снова высвечивает те грани, которые потускнели от обычного употребления. Н.В. Павлович пишет о существовании в русском поэтическом языке парадигм образов: «Каждый поэтический текст существует не сам по себе, а в ряду других – внешне, возможно различных, но в глубинном смысле сходных – и вместе с ними реализует некий закон, модель, правило или... парадигму» [Павлович Н.В., 1995. С. 7].

Мы полагаем, что в тексте романа М.А. Булгакова работает когнитивная метафорическая модель восприятия звучания, отражающая мифологическую иерархию объектов действительности модели.

Моделируя пространство романа «Белая гвардия», Булгаков активно привлекает звукоподражательную лексику для создания насыщенного саундшафта. С помощью этого типа знаков воссоздается звуковая атмосфера времени, в котором происходит действие романа. Каким образом это осуществляется? Автор использует разнообразные метафорические варианты глаголов звучания, для того чтобы маркировать различные типы ситуаций и достичь определенной цели. Например:

- дать характеристику персонажу романа (*В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын. И глаза у него были чудесные, печальные, томные с синеватым белком, а волосы – бархатные*);

- передать эмоциональный фон ситуации (*Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры...*);

- передать эмоциональное состояние героя (*Николкина душа стонала, полная смятения*).

«Стершиеся» языковые метафоры, утратившие способность восстанавливать ассоциативные связи с исходным образом, «оживляются»

средствами контекста, актуализирующими неиспользованные части¹ исходного образа.

Например, в контекст может быть введена дополнительная информация об исходном субъекте звучания: *Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал склонить кран. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел. – Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?*

Как можно убедиться, автор использует именно языковую метафору, не усложняя ее дополнительными тропами. Он конкретизирует образ исходной ситуации путем использования глагола *ОГЛЯНУЛСЯ* и обстоятельства *ЗЛОБНО*, более детально характеризуя действия исходного субъекта звучания – дикое хищное животное (собака, волк и т.п.), вцепившееся в добычу.

Введение в контекст символического имени также позволяет актуализировать символические смыслы (*Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина*). Символические смыслы глагола *ГРЕМЕТЬ* «оживляются» за счет изменения субъекта действия – звучания. Возможность такой сочетаемости основывается на скрытом мифологическом значении глагола, который актуализируется посредством употребления имени *СОН* – то, что находится по ту сторону сознания, не является человеческим. *ВЕЩИЙ СОН* – откровение, то, что дано свыше.

Употребление имени эмоционального состояния также позволяет уточнить и эксплицировать эмоциональную наполненность слова. Языковая метафора *КРИЧАТЬ* может характеризовать сферу внутреннего мира человека, эмоциональное состояние – «душа кричит», «все во мне криком кричит». Достаточно часто метафора такого рода встречается и в текстах. Она сохраняет живую эмотивность. Но у данного глагола есть еще один аспект значения, характеризующий его с другой стороны – со стороны слушающего, воспринимающего этот тип звучания; *КРИЧАТЬ* в этом случае – «привлекать внимание к чему-либо, предупреждать об опасности». У Булгакова функционирование этого глагола, опять же, связано с наложением этих двух значений, актуализацией одновременно двух комплексов: *Турбин сделал десять лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри и очень отчетливо малышевский голос шепнул: "Беги!"* Такое употребление характеризует внутреннее состояние героя, на это указывает имя субъекта и обстоятельство места, но в этом случае актуализирована и сема *привлече*

¹ Термин Дж. Лакоффа, обозначает факультативные признаки сферы-источника, которые не задействуются при метафоризации [Тюпа В.И., 1996].

внимание, предупредить об опасности, т.е. действие (звучание), одновременно и внешнее по отношению к объекту, воспринимающему его, – Турбину.

Последняя метафора позволяет говорить еще об одном способе актуализации – совмещении в одном контексте нескольких метафорических или метонимических моделей. Зачастую очень трудно установить, к какому типу переносных значений относится текстовая модель: *Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами*. Л.П. Кожевникова, рассматривая структурное сходство принципиально противопоставляемых в традиционной отечественной лингвистике типов переносного значения, отмечает: «по убеждению Моррела, акцент в отношениях между двумя тропами (метафорой и метонимией) нужно делать на их сходстве, а не на противопоставлении» [Кожевникова Л.П., 1993. С. 105]. Не принято проводить жесткой границы между образными средствами и в когнитивной семантике: когнитивистикой активно постулируется положение о моделирующей функции любых образных средств языка [Скребцова Т.Г., 2000. С. 78]. Мы, вслед за цитируемыми авторами, также не проводим категорического различия между этими явлениями языка, объединяя их на том основании, что в основе обоих лежит принцип *переноса*, но метонимия отражает перенос в пределах одной ситуации (зачастую имеющей весьма сложную образную структуру). В приведенном контексте неодушевленный субъект действия *ПУЛЕМЕТ СТУЧИТ* становится в высказывании орудием действия, а пропозитивный результат действия *СМЕРТЬ* – его субъектом.

Еще один способ актуализации образа исходной ситуации – столкновение в одном контексте контрастивной лексики: *Удалые марши, победные, ревушие, были золотом в цветной реке*. Семантика глагола *БЫТЬ* связана в сознании носителей языка с состоянием отчаяния, тоски, безвыходности. Совершенно иную эмоциональную окраску задают лексемы *УДАЛОЙ, ПОБЕДНЫЙ, МАРШ*. Их столкновение в одном контексте порождает чувство тотального несовпадения внешней стороны жизни с ее внутренним ощущением, чувство краха.

В тексте наблюдается следующее соотношение глаголов, относящихся к различным денотативным сферам по исходному значению: наиболее широко представлена сфера звучания животных – 45% от всех глаголов звучания, за ней следует звучание неживого – 35%, и самая малочисленная группа – звучание человека – 20%. Наиболее часто употребляются в романе метафорические варианты глаголов *БЫТЬ* (17%), *ПЕТЬ* (12%), *ГРЕМЕТЬ* (10%). Эти три различных типа звучания

репрезентируют в романе три сферы иерархии мироустройства: зверь, человек и небо.

Глагол *ВЫТЬ* имитирует звучание, свойственное собаке или волку («С волками жить – по-волчьи *выть*». Даль), это «продолжительный протяжный стон», ассоциирующийся у носителей русского языка с чувством тоски, отчаяния, крайне тяжелого эмоционального состояния (*Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, **выли** в гуще проклятые лиры; Самое ее (смерть) не было видно, но явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонка гнев. Он безжал по метели и холоду, в дырявых лаптешках, с сеном в непокрытой сваявшейся голове и **выл***). Мы полагаем, что этот тип звучания – *протяжное, высокого тона и подобного тембра* – связан с наиболее глубинными слоями сознания и обладает определенным символическим смыслом.

Денотатом глагола *ПЕТЬ* выступает тип звучания, близкий по акустическим параметрам к денотату предыдущего глагола. Но при восприятии его играют значительную роль определенные факторы: во-первых, значимым является то, что тип человеческого звучания является нормативным по отношению ко всем остальным. В сознании человека существует так называемая двойная аксиология: на разных основаниях он оценивает собственную сферу и весь остальной мир (животных, растения, неживую природу и т.п.). Во-вторых, это особый тип звучания человека – сакральный, творческий. Из всех лексем, обозначающих тип эмоционального (голосового невербального) звучания человека, глагол *ПЕТЬ* имеет наиболее разветвленную сеть метафорических значений, среди которых есть уникальные – обозначающие другие виды словесного творчества (*Он **пел** любовь, любви послушный...* Пушкин). Можно предположить, что именно посредством этого типа звучания Булгаков маркирует сферу человеческого в романе (*Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно **запел**, и угольки, подернутые седым теплом, вывалились на поднос*).

Третий акустический тип, обозначаемый глаголом *ГРЕМЕТЬ*, представляет сферу неодушевленного звучания, стихию неживого. Мы обозначили его как некаутированное природное звучание, которое реализуется в двух основных видах: *ГРОМ* и *ШУМ*, это позволяет выдвинуть предположение об архетипической ориентированности *верх – низ* восприятия природного звучания. При этом такой тип звучания, как *ГРОМ*, относится к *верху*. Он связан со звучанием грома, грозы, которое мифологическим сознанием (как архаическим, так и современным) воспринимается символически, что отражается в ряде метафорических значений (*Вещий сон **гремит**, катится к постели Алексея Турбина; Обер-*

нувшись к Николке с корточек, он (Най-Турс) бешено загремел: – Оглох? Беги!; В это время далеко на лестнице вверх загремели стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос Мышлаевского. Лицо волка резко изменилось, потемнело).

Анализ частотности употребления глаголов звучания в разных частях романа позволил установить следующее соотношение. В первой части наиболее отчетливо «звучат» два тона: человека и животного (ПЕТЬ – ВЫТЬ), символизируя собою борьбу двух начал. Постепенно вербальное звучание человека все более и более заглушается звучанием сферы животного, и напротив, все явственнее становится звучание неживого. Возрастает ощущение хаоса, упорядочивающее духовное человеческое начало оставляет мечущийся в смертельном ужасе мир. Во второй и третьей частях романа возрастает количество глаголов, обозначающих звучание животных и «низовое», шумное звучание сферы неодушевленного. Есть здесь и глаголы, обозначающие звучание человека, но это звучание эмоциональное: СТОНАТЬ, КРИЧАТЬ – звуки, выражающие крайне высокую степень эмоционального напряжения и соответствующие в микрокосме человека звучанию биологическому. Таким образом, звучание животного, звучание биологическое, телесное, доминирует на всем протяжении романа, символизируя утрату духа божественного родом человеческим.

Голосом человеческим Булгаков наделяет только сферу семейства Турбиных: братья Турбины, Елена, Мышлаевский и т.д. Более того, человеческим голосом оказываются наделенными дом и вещный мир, одухотворяемый жизнью и любовью людей, живущих в нем (В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женищины носили смешные, пузырьчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь). С пространством семьи связывается и символическое звучание «верха». Все остающееся за пределами пространства Турбиных репрезентируется либо через звучание животных, либо через «низкое» земное звучание (СТУЧАТЬ, ТАРАХТЕТЬ). По мере того, как истончается семья, убывает и человеческое звучание в романе (Дзынь... Трень... гитара, турок... кованный на Бронной фонарь... девичьи косы, метущие снег, огнестрельные роны, звериный вой в ночи, мороз...).

Но в финале романа вновь появляется метафорический вариант глагола ПЕТЬ (Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в

ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все *пел и пел* свою *песню*, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье). Это стершаяся метафора, но на фоне всего текста романа она начинает играть новыми смыслами, символизируя неиссякаемость жизни и духа человеческого.

ЛИТЕРАТУРА

- Власенко О. Вр-система – проективное пространство воображения. <http://tfk1.narod.ru/olga.htm>.
- Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб., 2002.
- Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
- Кожевникова Л.П. О структурно-семантическом сходстве метафоры и метонимии // Проблемы функциональной семантики. Калининград, 1993.
- Лакофф Д. Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
- Павлович Н.В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. М., 1995.
- Пацева М.А. К проблеме репрезентации значения // Структура языкового сознания. М.: Наука, 1990.
- Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.
- Ружин И.Г. Природные звуки в семантике языка (Когнитивные отражения именования) // Вопросы языкознания. 1993. № 6. С.17–28.
- Скребицова Т.Г. Американская школа когнитивной лингвистики. СПб., 2000.
- Тюпа В.И. Модусы сознания и школа коммуникативной дидактики // Дискурс. Новосибирск: Наука, 1996. № 1.
- Юнг К.Г. Сознание и бессознательное: Сборник. СПб.: Университетская книга, 1997.

Н.И. Маругина

**КЛЮЧЕВАЯ ТЕКСТОВАЯ МЕТАФОРА –
МЕХАНИЗМ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОРСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА: К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» И ЕЕ ПЕРЕВОДОВ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)**

В последние десятилетия в лингвистической науке метафора стала рассматриваться как наиболее продуктивный способ организации и представления языковой картины мира, возникающей в результате когнитивной обработки и манипулирования уже существующими в языке значениями для создания новых концептов, новых смыслов. Актуальность обращения к метафоре с целью исследования языковой картины мира состоит в том, что она рассматривается как механизм моделирования процесса познания и преобразования мира, как призма, посредством которой осуществляется «акт мировидения и миропонимания» [Роль человеческого фактора в языке, 1988. С. 179].

Понятие языковой картины мира восходит к идеям Вильгельма фон Гумбольдта, который понимал язык как орган, образующий мысль. По Гумбольдту, зависимость языка от мышления обуславливает концептуальную интерпретацию действительности человеком и формирует картину мира. Картина мира, смоделированная средствами языка, исторически складывающаяся в обыденном сознании представителей отдельного языкового общества, отражает всю совокупность представлений о мире и выступает как определенный способ концептуализации действительности.

В современных исследовательских работах, посвященных языковой картине мира, ученые апеллируют к нескольким факторам ее создания и состояния. Прежде всего, делается акцент на двойственном характере языкового способа концептуализации действительности: с одной стороны, он универсален для всех языков, с другой – национально окрашен. Представители разных языков и культур оценивают и видят мир через призму своих языков и изображают действительность иначе, чем это делается в других языковых коллективах.

Другой аспект рассмотрения картины мира связан с ее воздействием на когнитивную и практическую деятельность носителей языка. При рассмотрении данного аспекта особое место отводится когнитивной

лингвистике, для которой характерен подход к мышлению человека как к механизму обработки знаний. Понятия, управляющие нашим мышлением, нашей повседневной деятельностью, структурируют, упорядочивают и объективируют знания о мире. По мнению основоположников когнитивной теории метафоры Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, вся наша понятийная система состоит из метафорических моделей, которые в значительной степени обуславливают то, как мы видим и воспринимаем мир. Метафора выполняет роль модели, по которой не только формируются представления об объекте, но и предопределяются способы мышления о нем. При когнитивном подходе к метафоре как к производству новых смыслов первостепенную значимость приобретают концептуальные автоматизированные метафоры, закрепленные в нашем сознании.

«Один из центральных тезисов в когнитивной теории о метафоре – принцип инвариантности» [Новоселова А.А., 2002. С. 3]. Согласно этому принципу, существуют базисные, или ключевые, метафоры – механизмы познания, которые используются для производства новых смыслов посредством преобразования концептуальных структур, для увеличения и обобщения объема знаний относительно слабо понимаемой области. С помощью инвариантного метафорического содержания, которое представлено в виде набора образов – схем, декодируется модель опыта, которая структурируется и получает дальнейшее распространение в рамках другой. Например, любовь в жизни человека может концептуализироваться как путешествие “LOVE IS A JOURNEY” и реализовываться посредством ряда стандартных метафорических выражений: 1) Look how far we've come; 2) Our relationship has hit a dead-end street; 3) It's been a long, bumpy road; 4) We're at a crossroads (Дж. Лакофф).

Ключевая метафора – это абстрагированная от каких-либо деталей модель опыта, к примеру, *love is a journey*, которая способна порождать аналогии, ведущие, в свою очередь, к образованию огромного набора метафор, входящих во фрейм, более сложную структуру для представления знаний.

Согласно Ч. Филлмору, фреймом называется набор или группа слов, каждая из которых обозначает определенную часть или аспект некоторого концептуального целого. Данные группы слов «мотивируются, определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными схематизациями опыта» [Филлмор Ч., 1988. С. 54]. Фреймы рассматриваются с двух позиций: как некие структурированные лексические подсистемы и как «средства организации опыта и инструмента познания» [Громова И.А., 1999. С. 64].

Каждый язык отражает свой способ мировосприятия и миропонимания, фиксируя и эмпирический опыт, и культурное достояние коллектива, и языковую компетенцию, где значения слов инкорпорируют огромный спектр единых мнений и взглядов на мир. Реальный мир един, но он членится на множество языковых миров. Несмотря на множество языковых миров, в них всегда сохраняется единство реального мира, благодаря чему появляется возможность перевода с одного языка на другой.

«В последнее время лингвисты все чаще стали выступать с такими установками в области перевода, которые приближаются к идее более широкого толкования процесса перевода. Здесь можно, например, сослаться на «концепцию функционального подобия», согласно которой изучается информационная функция тех или иных языковых элементов подлинника и устанавливается, какие языковые средства способны выполнить ту же функцию в переводе» [Крупнов В.Н., 1976. С. 13].

Оригинальное произведение представляет собой органичное целое, где нет ничего случайного, но где всегда присутствуют функциональные доминирующие элементы, которые прямо или косвенно ведут к задуманной цели. Эти элементы как раз и способствуют выстраиванию смысла художественного произведения. Задача же переводчика состоит в обнаружении ключевых элементов текста, определении их функциональных стратегий и в их воспроизведении, по мере возможности, либо равными эквивалентными единицами, либо их субститутами.

В данном исследовании мы пытаемся проанализировать ключевую текстовую метафору в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» в качестве доминирующего элемента художественного произведения с целью определения ее роли в выстраивании смысла текста, ее влияние на формирование картины мира писателя и ее воспроизведение в переводах, выполненных Аврилом Пайманом и Майклом Гленни.

Картина мира всякий раз воспроизводится в языковом тексте. Текст в первую очередь имеет прямую связь с концептуальной действительностью и предстает как переработка знаний о мире его создателем. Язык художественных текстов представляет собой авторскую систему моделирования мира. По мнению Ю.М. Лотмана, модель мира, создаваемая языком, более всеобща, чем глубоко индивидуальная [Лотман Ю.М., 1970. С. 26]. Художник слова, пользуясь общим языком, создает художественную модель какого-либо конкретного явления, создав сюжет или ситуацию, «посредством которой, он выражает свою философию, свое понимание мира» [Мурзин Л.Н., Штерн А.С., 1991. С. 19].

Индивидуально-авторская картина мира вторична по отношению к модели мира, созданной языком. Будучи автономными, элементы, соз-

дающие языковую картину мира, реализуются в текстах, отражающих достаточно крупные фрагменты мира и его концептуальную систему. Метафора, как элемент или единица, участвующая в создании языковой картины мира, служит отражению концептуальной модели мира фрагментарно при ее использовании в художественных текстах. Сама языковая концептуальная метафора, либо помещаясь в текст, либо находясь за его пределами, мотивирует создание художественной метафоры.

В художественном тексте можно обнаружить ключевую текстовую метафору (КТМ), служащую организации художественного произведения в целом и обладающую текстообразующими потенциями. Ключевая метафора языка и ключевая текстовая метафора связаны друг с другом конститутивными отношениями, они сосуществуют в неразрывном единстве и взаимодействии. В повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» фрагмент действительности моделируется при помощи языковой базовой метафоры «Человек – это зверь» и предьявляется ключевой текстовой метафорой, помещенной в заглавие произведения.

Заглавие текста обладает информативной ценностью, чаще всего оно выступает в роли темы, а сам текст представляет собой замкнутый отрезок или фрагмент действительности, организованный посредством последовательно повторяющихся в нем единиц. По заглавиям можно отчасти представить тот круг понятий, ключевых слов, которые густо концентрируются, образуя отдельные смысловые фрагменты, и распространяются на весь текст.

Художественный текст представляет собой микромир, в котором отражаются универсальные ассоциации и особенности устройства макромира. Сравнения «человек – собака» во многом универсальны для большинства языков европейского стандарта. В концепт «собака» включены следующие характеристики: умное, верное, преданное животное с острым нюхом и тонким слухом, лает, быстрая, выносливая, бежит с высунутым языком, виляет хвостом, сильная, лохматая, кусается, стережет дом, используется на охоте. Для сравнения человека с собакой характерна положительная и отрицательная оценка. Мы можем сказать, что человек предан, как собака, но в то же время никогда не назовем преданного «собакой». Поскольку это животное – страж хозяйства, то оно ассоциируется со злостью (*злой как собака*); собаку держат в конуре – жизнь ее трудна (*живет как собака, замерз как собака*); охотничья собака гоняется за зверем – она сильно устает (*устал как собака*). Прирученность, полная зависимость от человека, способствовала образованию таких негативных образных оценок [Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И., 1998. С. 537].

В повести М. Булгакова ключевая текстовая метафора (КТМ) «собачье сердце» организует метафорический сдвиг всего произведения и концентрирует вокруг себя значительный спектр слов, понятий, характеризующих жизнь и поведение собаки, например *хвост пилы, лапчатая вилка, брюхатый ножик* и т.д. Обратимся к переводам данных метафор на английский язык для рассмотрения их адекватности в переводах, выполненных М. Гленни (M.G.) и А. Пайманом (A.P.).

1. *Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик.*

A. *Then with of a curiously-shaped saw, the tail of which he inserted into the hole, he began to saw (A.P.).*

B. *Then with a saw of the most curious design he put its point into the first hole and began sawing through the skull as though he were making a lady's fretwork sewing-basket (M.G.).*

По мнению А.Д. Швейцера, перевод определяется как процесс поиска решения, определяемого во многом функциональными доминантами текста. Адекватным, или эквивалентным, перевод будет тогда, когда воспроизведение или преобразование элементов и структур оригинала будут заменены в языке перевода «субститутами и эквивалентами равной функциональной пригодности и эффективности» [Швейцер А.Д., 1988. С. 23]. В нашем случае функциональной доминантой является индивидуально-авторская метафора, отражающая уникальный, неповторимый взгляд автора на мир. Каждая последующая метафора, использованная автором в повести, находится в тесном единстве с ключевой текстовой, которая создает ассоциативную связь «животного начала». В переводе, выполненном Аврилом Пайманом, переводчик стремится передать эту ассоциативную связь и образный смысл метафоры *хвост пилы* путем сохранения всех сем, содержащихся в исходной метафорической единице. В переводе, выполненном Майклом Гленни, переводчик снимает метафору и расшифровывает ее номинативный смысл, заменив *хвост* (tail) на *кончик* или *острие* (point). Перевод – это произведение переводчика, и за каждым переводом стоит языковая личность, обладающая своей системой ценностей или картиной мира, складывающейся в процессе познания объективной реальности через художественное ее осмысление. Поэтому переводы не всегда могут совпадать.

2. *Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу.*

a) *Bormenthal extracted a small, curved knife from the glittering pile on the little table and handed it to the high priest (A.P.).*

*b) Bormenthal took a short, **broad-bladed knife** from the glittering pile on the small table and handed it to the great man (M.G.).*

Иногда очень сложно отобразить авторскую картину мира, его ассоциативные номинации в переводах, поэтому переводчики часто прибегают к трансформационному методу, к заменам, несмотря на то что КТМ генерирует основные смысловые компоненты текста. В данном случае оба интерпретатора отдают предпочтение расшифровыванию метафоры *брюхатый ножик*: у Аврила Паймана (А.Р) *брюхатый* заменяется на изогнутый ножик, а у Майкла Гленни (М.Г.) – ножик с широким лезвием. Их трансформационные переводные формы не совпадают, так как их знания оказываются нерелевантными и они обращаются к различным конкурирующим фреймам.

Булгаков не только развивает традиционную концептуальную модель, но и выходит за пределы ее возможностей. Автор повести изображает ирреальное, создавая иллюзию достоверности. Предметом изображения становится видимый мир, запечатленный глазами собаки. Собака в повести показана в двойном освещении: как зверь и как человек. В тексте ассоциативная связь «человек – зверь» разрывается и заменяется противоположной «зверь – человек», что, в свою очередь, влияет на создание как прямых, так и метафорических сплетений. Эти прямые употребления не вытесняют метафорические, но существуют на их фоне. М.А. Булгаков рисует собаку, которая проживает три стадии своей жизни: 1-я стадия – собака в облике собаки, 2-я стадия – собака в облике формирующегося человека, 3-я стадия – возвращение к своему первоначальному облику, облику собаки. Поэтому в повести представлена игра слов, которые употребляются то в прямом, то в переносном значениях.

Рассмотрим несколько примеров со словом «шерсть», которое встречается в повести в прямом и метафорическом употреблении.

1. *Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под **шерсть** проело, и защиты, стало быть, для левого бока никакой (прямое употребление слова).*

2. *Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, **шерсть** на нем встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза (прямое употребление слова).*

3. *Ноги холодные, в живот дует, потому что **шерсть** на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рассмотрим варианты перевода последнего фрагмента.*

a) *Her legs are cold, there's draughts all around her stomach because she's got no more **hair** on it than I have and those panties of hers have no warmth in them, pure illusion, lace-trimmed (A.P.).*

b) Cold legs, and the wind blows up her belly because even though she has some hair on it like mine she wears such cold, thin, lacy little pants-just to please her lover (M.G.).

Оба переводчика повести распознают метафору и интерпретируют ее номинативный смысл. В процессе поиска верного переводческого решения интерпретаторы осуществляют выбор между несколькими возможными вариантами перевода метафорических единиц. И чем выразительнее метафора в языке-оригинале, тем труднее поддается она передаче на любом другом иностранном языке.

Занимаясь вопросом изучения ключевой текстовой метафоры, ее моделирующей роли в организации метафорического сдвига в художественном произведении, можно выделить следующие характерные моменты:

1. КТМ всегда основана на традиционной концептуальной метафорической модели, посредством которой осуществляется процесс мировосприятия и познания, находится с ней в тесной взаимосвязи и единстве.

2. Помещаясь в текст, базовая модель находит свое воплощение в КТМ, которая, в свою очередь, развиваясь, способна организовывать фреймы на уровне одного отдельного слова до целых контекстов и являться исходным текстообразующим элементом.

3. Функционируя в художественном тексте, КТМ призвана отображать индивидуально-авторскую картину мира, быть ядром текста, подчинять себе все последующие метафоры, созданные автором произведения.

4. При передаче новых метафорических смыслов, созданных под влиянием КТМ, необходимо учитывать, что окказиональные значения, материализуясь в слове, насыщают его семантический объем. Поэтому для осуществления адекватного перевода необходимо выбрать стратегию, которая основана на понимании авторской идеи и нахождении в исходном тексте функциональных доминирующих единиц.

ЛИТЕРАТУРА

Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справочник. СПб., 1998.

Булгаков М.А. Собачье сердце. Казань, 1988.

Громова И.А. Когнитивные аспекты семантики юридического термина // Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических исследований. Калинингр. ун-т. Калининград, 1999.

Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М., 1976.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.

Музин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. М., 1991.

Новоселова А.А. Метафорическая концептуализация сознания в русском и английском языках // Диалог-2002: Теоретические проблемы <http://www.dialog-21.ru>.

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.

Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике М., 1988. № 8.

Швейцер А.Д. Текст и его перевод. М., 1988.

Рутан А. The Heart of a Dog. Moscow, 1990.

Lakoff G. The Contemporary Theory: Some Examples <http://www.ac.wvu.edu/~market/semiotic/met1.html>.

Glenny Ml. The Heart of a Dog. London, 1989.

С.Ю. Макушкина

**МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ КАТЕГОРИЙ
«НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР» И «СУДЬБА»
В «МАЛОЙ ИЛИАДЕ» В.А. ЖУКОВСКОГО**

Жуковский не стремится дать все содержание «Илиады». Он, несомненно, опирается на знание ее содержания читателем. Особенность греческой литературы – присутствие в авторском сознании реципиента, посвященного в предшествующий текст. Эта черта характерна и для «Малой Илиады». Мифологический материал служит для переакцентировки, создает фундамент для осуществления авторского замысла. Гомеровский принцип повествования заключается в интенсификации мотивов, призванной вызвать ассоциацию всего хода войны [1. С. 36]. Таким образом, «интенсификацией отдельных мотивов поэмы до степени звучания их как центральных мотивов Троянской войны, с одной стороны, а с другой – умелым распределением *ante* и *post-Iliaca*, Гомеру удается максимально сохранить в поэме дух троянских сказаний, сделать «Илиаду» летописью Троянской войны» [1. С. 37].

Цель Гомера – показать всю Троянскую войну. Подобно тому, как Гомер для создания поэмы берет эпизод троянских сказаний, Жуковский выбирает эпизоды «Илиады» для создания нового художественно-произведения, но художественное задание у него иное. Он создает не летопись Троянской войны, а стремится передать духовное, нравственное содержание жизни древних греков. Это связано прежде всего с иным пониманием эпического события Жуковским. Это событие для него – событие духовной жизни. Поэтому ему оказываются практически не нужны ни описание ссоры царей, организующей «Илиаду» Гомера, ни военные сцены «Илиады», в том числе и поединок Гектора и Ахилла.

Главное в процессе перевода в связи с эстетикой «невыразимого» – прозрение души человека, раскрытие области душевных переживаний, которые невозможно передать с помощью обычных слов. Погружение во внутренний мир героя, стремление акцентировать не внешнюю сторону его жизни, а историю души – это принципиально и проявляется уже в логике отбора отрывков в «Малой Илиаде». Сами эпизоды, моменты развития действия «Илиады» выбраны так, что внутренняя логи-

ка их объединения обусловлена стремлением передать прежде всего историю души центральных фигур (Гектора и Ахилла). Жуковский выбирает для перевода наиболее эмоционально напряженные сцены, эпизоды наиболее сильного нравственного воздействия. Это следующие отрывки: 1) прощание Гектора с Андромахой (VI, 390 – 502); 2) Менелай с Мерионом уносят тело Патрокла (XVII, 708 – 734); 3) Антилох извещает Ахилла о смерти Патрокла (XVIII, 2 – 34); 4) Фетида и Ахилл (XVIII, 34 – 38, 50 – 149); 5) явление Ахилла на раскате (XVIII, 150 – 180, 202 – 252); 6) совет в троянском стане (XVIII, 294 – 320); 7) Ахилл над телом Патрокла, Фетида приносит оружие (XVIII, 321 – 362, XIX, 1 – 39); 8) Ахилл выходит в бой (XIX, 238 – 247, 303 – 424); 9) битва богов (XX, 1 – 60).

Сам перевод отрывков у Жуковского не эквилинеарен, более того, он, в основном, настолько «сжимает» оригинал в переводе, что, по сути, сами переведенные отрывки в этом отношении приближаются к собственным стихам (в первой публикации напечатанным курсивом). Например, вместо 113 стихов из VI песни (с 390-го по 502-й) у Жуковского получается 99 стихов; вместо 27 стихов из XVII песни (с 708-го по 734-й) – 22; вместо 241 стиха из XVIII песни (со 2-го по 242-й) – 178; вместо 70 стихов XVIII песни (с 284-го по 353-й) – 60. Затем он выпускает 263 стиха XVIII песни без собственных стихов и без границы со следующим отрывком. Далее вместо 39 стихов XIX песни (с 1-го по 39-й) – 32 стиха. В последнем отрывке он также выпускает без обозначения границы и без собственных стихов с 249-го по 302-й стихи XIX песни, т.е. 54 стиха, а 11 стихов XIX песни переводит 7, 187 стихов (122 стиха XIX песни и 65 стихов XX песни) – 170. Собственными стихами он заменяет в разных случаях разное количество стихов, в этом смысле они выглядят менее однородно. Но, например, 41-й стих XVIII песни (с 243-го по 283-й) Жуковский передает собственными 14 стихами.

Например, первый стих: «Жертву принеши богам, да pošлout Илиону спасенье...» – собственный стих Жуковского, несмотря на то, что он не был напечатан курсивом в первом издании. В «Илиаде» Гектор, отлучившись с поля сражения, сначала отправляется к матери, чтобы распорядиться о жертвоприношении, затем к Парису, затем в свой дом и только оттуда – навстречу Андромахе. У Жуковского экспозиция встречи Гектора и Андромахи предельно сокращена, и жертвоприношения совершает сам Гектор. Практически сразу, без экспозиции, интродукции и т.д. Жуковский переходит к действию. Собственные стихи Жуковского непосредственно примыкают к первому отрывку, продолжая его последний стих: «мы вечно его не увидим» (окончание первого

отрывка); «Истину вещая скорбь предсказала им...» (начало связующих стихов).

Второй отрывок принципиально не вычленяется из структуры «Малой Илиады»: он начинается с речи Менелая, которая была бы непонятна без связующих стихов поэта. Первый стих третьего отрывка: «Робко меж тем Антилох к Ахиллесовой ставке подходит» – отсылает к описанию битвы в собственных стихах Жуковского («меж тем»), о которой говорит и Ахиллес в своем монологе. Третий отрывок заканчивается словами: «... войско ахейн, После губительной брани в глубокий покой погрузилось». Стихи для связи отрывков начинаются, отталкиваясь от этой последней фразы: «Но трояне вкусить не могли ни покоя, ни пищи», о чем говорит противопоставление (ахейцы – трояне, союз «но») и повторение слова «покой». Следующий отрывок начинается ответом Гектора на монолог Полидаманта, который находится в собственных стихах Жуковского: «Сумрачен, брови нахмури, ответствовал пламенный Гектор». Наконец, в шестом отрывке в последнем стихе связки большая часть напечатана курсивом, но слово «немедля» уже относится к стихам, переведенным Жуковским.

Фабульное время в «Малой Илиаде» – одни сутки. В самой «Илиаде» между прощанием Гектора и Андромахи и смертью Патрокла проходит четверо суток, в которые происходит большое количество событий. В ночь на третьи сутки после прощания к Ахиллу приходит посольство (с Долонией), и это событие оказывается центром в концепции времени «Илиады», вокруг которого и расположены симметрично дни действия и дни бездействия [1. С. 394].

У Жуковского прощание Гектора с Андромахой и смерть Патрокла становятся событиями одного дня, а центром концепции художественного времени становится вечер этого дня – доставление тела Патрокла в ставку Ахилла, когда впервые определенно говорится о времени суток: «Тою порой, постоянный в течении Гелиос...» (это конец третьего отрывка из шести, 309 стих из 600, т. е. фактически посередине «Малой Илиады»). Затем – ночь, в которую ахейцы скорбят над телом Патрокла, и утро, когда Ахилл примиряется с Агамемноном и начинает приготовления к битве.

Таким образом, в первой части «Малой Илиады» герои совершают выбор (Гектор идет в поле, отказавшись остаться за стенами Трои, и убивает Патрокла, Ахилл решает отомстить за друга, отказаться от своего бездействия и гнева), а во второй начинается то, что вытекает из принятого решения. Причем во второй части и у Гектора, и у Ахилла есть возможность переменить решение (совет Полидаманта и предсказание коней), что становится испытанием, проверкой стойкости

героев и одновременно предстает как роковое стремление навстречу своей судьбе.

В отрывке о прощании Гектора с Андромахой нет лексических обозначений фабульного времени, вообще есть только несколько слов с прямой семантикой времени: «теперь»; «доныне»; «день» как срок исполнения судьбы Трои; «со временем», т.е. в определенное время, когда-то в будущем; «преждевременно»; «вечно»; два раза «соро» и «некогда».

Тем не менее за счет грамматических форм глаголов, их синтаксической роли и контекстного окружения выстраивается очень сложная модель художественного времени. В речи автора обозначается момент, в который происходит их встреча, их разговор. Этот момент для самого автора отнесен в далекое прошлое, поэтому прошедшее время используется в том же значении, что и настоящее (настоящее историческое): потек, встретил, лежал, сказала, отвечает и т.д.

В речи Андромахи уже появляется несколько временных слоев: 1) относительно далекое прошлое – гибель ее родителей и братьев; 2) совсем недавнее прошлое, близкое к настоящему – «уж трижды на нас покушались / Оба Аякса...»; 3) настоящее – именно к нему относится слово «теперь»; 4) ближайшее возможное будущее, выраженное повелительным наклонением: «войско поставь»; 5) достаточно близкое будущее – «соро тебя умертвят» и 6) условное наклонение, действие, зависящее от исполнения достаточно близкого будущего: «Для меня же бы лучше / В землю сокрыться, тебя потеряв: что будет со мною, / Если тебя, отнятого роком могучим, не станет?».

В речи Гектора также есть настоящее время (3): «я о том же печалюсь», «сердце запрещает» и т. д.; прошедшее присутствует только в определении привычного поведения Гектора: «доныне привык я спокойно...»; ближайшее будущее (4), выраженное повелительным наклонением: «в дом свой пойд...» и др.; есть и условное наклонение (6), но здесь два действия, которые могут совершиться при разных условиях: первое зависит от ближайшего будущего (от того, примет ли Гектор совет Андромахи) – «стыд мне будет, если...». Второе действие («Нет! Я лучше хочу, чтоб меня бездыханного скрыли / В землю...») зависит от новой временной единицы, которой не было в речи Андромахи: неопределенное, но обязательное будущее: «Некогда день сей наступит – падет священная Троя». И, наконец, в следующей речи Гектора появляется желательное, но неопределенное будущее («некогда», «пусть сын мой», «молю» и т.д.), которое вступает в конфликт с «некогда», должным наступить независимо от желания. В третьей речи Гектор, успокаивая Андромаху, говорит о достаточно близком будущем, которого она боится

(5), что оно не наступит «преждевременно». В этой же речи появляется вневременная категория – судьба, которая дается каждому человеку при рождении («но судьбы ни единый еще не избегнул / Смертный, родившийся раз на земле...»).

Два раза повторяющееся слово «скоро» первый раз обозначает будущую гибель Гектора, а второй раз относится к настоящему («Андромаха пошла и достигла / Скоро обители Гектора...»), что подчеркивает близость наступления гибели Гектора. И, наконец, в последнем стихе отрывка («Неизбежно, / Мнили они, он погибнет; мы вечно его не увидим») «вечно» ставит точку в сцене прощания Гектора с Андромахой с точки зрения модели времени, это слово уже противостоит всему времени, времени как таковому, обозначая смерть. В этом смысле можно говорить об относительной самостоятельности отрывка в структуре «Малой Илиады».

Чтобы понять жанровую природу «Малой Илиады», прежде всего необходимо проанализировать конфликт произведения, который понимается нами как «система соотношения персонажей в ходе действия – друг с другом и с автором (образом автора)». В этом смысле конфликт (коллизия) является структурной категорией, которая «соотносит и координирует разнообразные элементы в различных плоскостях художественной структуры» [3. С. 13 – 14].

Жуковский снова обращается к образу Ахилла, но если в балладе «Ахилл» он исследует душевное состояние героя после поединка с Гектором, акцентируя принятие судьбы и своей участи, которая уже окончательно предрешена, то, переводя отрывки из «Илиады», Жуковский обращается к ситуации выбора, обозначенной поэтом в примечании к балладе. В отличие от баллады, в «Малой Илиаде» два главных героя – Гектор и Ахилл, их соотношение и определяет многоаспектность ее конфликта. Двугеройность романтической поэмы, намеченная еще в «Кавказском пленнике» Пушкина и «Эде» (1826) Баратынского, была развернута последним в поэмах «Бал» (1828) и «Наложница» (1831). Два персонажа проходили, как бы удваивая с некоторой перестановкой акцентов, сходные и одинаково значимые эволюции, что отразилось на усложнении и углублении конфликта [3. С. 175 сл.]. Подобные функции, на наш взгляд, выполняют и два главных героя в «Малой Илиаде».

Как и в балладе «Ахилл», центральная категория «Малой Илиады» – категория судьбы, которая является организующей как в жанре русской романтической поэмы, герой которой «гоним судьбою», так и во всех балладах самого Жуковского. Но коренное отличие истолкования этой категории в «Малой Илиаде» заключается в том, что отношения с судьбой разворачиваются не в современном мире, где герой чувствует себя

отчужденным, одиноким, противостоящим всему миру, что является, по сути, доминантой конфликта романтической поэмы, а предстают в мире гармоничном, идеальном, каким представляется современному сознанию мир гомеровских героев.

Понятие «судьба» в «Малой Илиаде», как и в балладе «Ахилл», совпадает с понятием «смерть». Судьба – это предсказанные, предрешенные еще при рождении обстоятельства и время смерти человека. Обозначения судьбы в «Малой Илиаде» следующие: «рок могучий» (16)¹, «судьба» (86), «то, что давно предназначено было» (101), «неизбежный час судьбы» (104 – 105), «то, что давно предсказала мне мать» (140), «повелела судьба» (209), «жребий» (226), «постигнут» судьбой (229), «предназначенный час» (242), «назначено в землю сойти» (368), «предназначенный день» (527), «строгая судьба» (528), «бог неизбежный» (531), «закон судьбы» (540), «судьбе вопреки» (569).

Таким образом, судьбы нельзя избежать. Эта мысль симметрично, в похожих ситуациях высказывается и Гектором: «Против судьбы я никем преждевременно сослан не буду / В темный Аид; но судьбы ни единый еще не избегнул / Смертный, родившийся раз на земле, ни смелый, ни робкий» (86 – 88), и Ахиллом: «... мне ли / Ныне роптать на судьбу, когда и Алкид благородный, / Сын громовержца любимый, был некогда ею постигнут» (227 – 229).

Гектор и Ахилл принадлежат к разным станам, они враги. Их поединок является решающим в судьбе каждого из них, поэтому их судьбы прямо детерминированы: Гектор должен погибнуть от руки Ахилла, но и сам Ахилл с неизбежностью должен умереть после их поединка. Оба они даны в ситуации выбора. И все-таки это разные ситуации. Гектору не дано знать наверняка своей участи, хотя и ему приоткрыто будущее относительно судьбы Трои: «...но предвидит / Вещее сердце и тайно гласит мне тревожное чувство: / Некогда день сей наступит – падет священная Троя» (44 – 46). Ему нужно выбирать между собственным счастьем, семейной идиллией и долгом, возможной смертью. У Гектора в данной ситуации нет выбора в полном смысле этого слова, точнее ситуация выбора для гомеровских героев является естественной, «беспроблемной»: они не могут выбрать индивидуальное счастье в ущерб долгу перед коллективом. Проблема абсолютной свободы как того идеального состояния, к которому стремится и не может обрести романтический герой (т.к. оно не равно ни одной конкретной свободе), исследуется Жуковским. У Гомера отношения между свободой и необ-

¹ Только арабскими цифрами обозначается номер стиха в «Малой Илиаде», в «Илиаде» Гомера сначала дается римская цифра – номер песни, затем арабская – номер стиха.

ходимостью, хотя и не лишённые элементов трагического, были равновесные, т.е. герой и не мог представить себе, а тем более выбрать такую свободу, которая не совпала бы с необходимостью как законом существования мира.

Ахилл, в отличие от Гектора, знает точно, что после его убийства он должен погибнуть. Но, как и для Гектора, для Ахилла в этой ситуации также нет выбора. Жуковский меняет мотивировку выбора Ахилла. Такое истолкование выбора героев и их взаимоотношений с судьбой организует всю структуру перевода отрывков из «Илиады».

Композиция «Малой Илиады» строится так, что сначала отрывок «Прощание Гектора с Андромахой» обозначает ситуацию выбора Гектора, затем смерть Патрокла оказывается для Ахилла тем событием, в котором он также должен выбирать, более того, обоим героям фабульно дается еще один шанс, т.е. ситуация выбора удваивается у каждого из них: совет троян и предсказание коней, которые являются повторным испытанием нравственного чувства и твердости выбора героев. «Малая Илиада» заканчивается, когда выбор сделан, – Жуковский не переводит самого поединка, смерти Гектора и т.д., что подтверждает вывод о центральной проблеме произведения – проблеме выбора между жизнью и смертью. Последняя сцена – битва богов – обозначает враждебность мира (закона необходимости), заканчивается «Малая Илиада» стихами об Аиде, царстве мертвых.

В понимании центрального конфликта «Илиады» Гомера и отражающей его композиционной структуры мы опираемся на выводы Р.В. Гордезиани. Исследователь определяет «концепцию развития эпического конфликта» так, что «каждый конфликт, начавшийся по воле богов, завершается по той же божественной воле» [1. С. 45]. В конфликте «Малой Илиады» Жуковского божественная воля не играет такой роли. Вплоть до появления Фетиды боги вообще не участвуют в действии. Но тем не менее «божественный план» есть в произведении Жуковского: Фетида, Гера посылает Ириду к Ахиллу, Афина усиливает его крик с раската и придает ему больше мощи для устрашения троянцев, наконец, после выхода Ахилла на поле боя следует сцена битвы богов, которой и заканчивается «Малая Илиада». В отрывках Жуковского неоднократно повторяется упоминание о воле судьбы и воле богов, но нет указания на то, что события «Илиады» – результат осуществления планов Зевса. Даже опасения Зевса, что «против судьбы» (ὄπ' ἐρ μόρον) Ахилл может разрушить Илион, не воспринимаются в контексте «Малой Илиады» как опасения за смещение планов самого Зевса, они говорят только о предопределенности, предназначенности судьбы как человека, так и города. Поэтому центральную часть поэмы Гомера – песни

XI – XIII, «в которых осуществление первой фазы планов Зевса достигает кульминационного момента», положение ахейцев становится безвыходным [1. С. 46] – Жуковский не переводит и не напоминает о ней в собственных стихах. Воля богов, таким образом, в «Малой Илиаде» является более абстрактной (обобщенной) категорией, чем в «Илиаде» Гомера. В отрывках Жуковского прежде всего срок и обстоятельства смерти человека и гибели города становятся ядром категории судьбы и определяются богом или богами или безличной судьбой. Это не принципиально для Жуковского. Главное – срок и обстоятельства смерти не зависят от человека, но могут быть ему сообщены, и он должен определиться именно в такой ситуации. Естественно, что это приводит к смещению в характере развития конфликта в произведении Жуковского.

Сцены, переведенные Жуковским из VI песни и из XVII, XVIII в композиционной структуре «Илиады» Гомера, относятся к блокам, которые Р.В. Гордезиани выделяет как взаимоотражающие, симметричные. «Как в одном, так и в другом блоке царит трагический дух, ибо фактически в обоих случаях оплакиваются все еще живые герои – Гектор и Ахилл» [1. С. 56]. Конечно, Жуковскому не была известна симметричность этих блоков, но центральный конфликт «Малой Илиады» – выбор героев между жизнью и смертью, самоопределение их обоих – потребовал перевода именно этих отрывков, так как в «Илиаде» Гомера первый из этих блоков подготавливает выход Гектора, второй – выход Ахилла. В схеме Р.В. Гордезиани эти блоки выглядят следующим образом:

Блок VI песни:

- а. Битвы. Менелай и Адраст.
- б. Гелен призывает Гектора и Энея.
- в. Гектор и Эней укрепляют позиции троянцев.
- г. Встреча Главка с Диомедом. Мирный исход.
- д. Гектор и Гекуба. Гектор посылает Гекубу в храм Афины.
- е. Гектор призывает Париса выйти на поле битвы (принятие призыва).
- ж. Андромаха и Гектор. Андромаха советует укрепиться в Трое.
- з. Гектор не принимает совета.

Блок XVII, XVIII песен:

- а. Битва за тело Патрокла. Менелай и Эвфорб.
- б. Главк призывает Гектора.
- в. Гектор и Эней укрепляют позиции троянцев.
- г. Битва за тело Патрокла с многочисленными единоборствами.
- д. Ахилл и Фетида. Фетида обещает Ахиллу пойти к Гефесту.

е. Ирида призывает Ахилла выйти на поле битвы (принятие призыва).

ж. Пулидамас и Гектор. Пулидамас советует укрепиться в Трое.

з. Гектор не внимает совету [1. С. 55–56].

Таким образом, из первого блока Жуковский берет только «ж» и «з», а из второго – отчасти «г», а также остальные пункты. Если в «Илиаде» Гомера бой за тело Патрокла подготавливает переход к началу новой фазы гнева Ахилла, то у Жуковского он подготавливает ситуацию самоопределения Ахилла. Его гнев бездействия не играет ни композиционной, ни смысловой роли в «Малой Илиаде», однако он оказывается субъективно осознаваемой виной перед ахейцами и в особенности перед Патроклом. Упоминание о ссоре царей и о гневе Ахилла на Агамемнона впервые в «Малой Илиаде» Жуковского появляется в разговоре Фетиды и Ахилла (188 – 191 – Фетида; 219 – 224 – Ахилл). Но, во-первых, здесь говорится об уже исполненном Зевсом желании Ахилла, во-вторых, именно монолог Ахилла (210 – 237) позволяет сделать вывод об осознании Ахиллом Жуковского своей вины, и, в-третьих, с 419-го стиха начинается примирение в ахейском стане, причем, о нем Жуковский говорит сжато в собственных пяти стихах, соединяющих 4-й и 5-й отрывки. А переведенные строки о примирительных дарах, принесенных Одиссеем, служат лишь для приглашения Одиссеем Ахилла разделить обед, что и вызывает монолог Ахилла, скорбящего о Патрокле.

В «Илиаде» Гомера сцены встреч Гектора и Гекубы в VI песне и Ахилла и Фетиды в XVII оказываются связанными в композиционном отношении. И Гекуба, и Фетида по просьбе сыновей молят богов. Сходство и противоположность этих сцен определяются результатами этих молитв, т.е. исполнением воли богов. У Жуковского главное – выбор героев, поэтому он не переводит встречу Гекубы с Гектором как не содержащую момента выбора, принятия решения Гектором. Наоборот, разговор Ахилла и Фетиды акцентируется поэтом, именно здесь выясняется, во-первых, знание Ахиллом своей судьбы (предсказание Фетиды); во-вторых, осознание им своей вины и оценка собственной жизни в дальнейшем как ее искупления; в-третьих, принятие решения выйти в бой и вступить в поединок с Гектором, т.е. сознательный выбор смерти, которая непосредственно связана с гибелью Гектора.

Примерно такую же роль играет для Гектора его встреча с Андромахой, где он не принимает ее совета остаться в Трое и мотивирует это ответственностью перед семьей и городом, противопоставляя идеал воина его антиподу («я привык спокойно...» и «как робкий»). Жуковский открывает «Малую Илиаду» сценой прощания Гектора и Андромахи. Эта сцена в произведении Жуковского кажется А.Н. Егунову «не

совсем ловко пристегнутой» к остальной части, «Ахиллеиде» [2. С. 333], но, с одной стороны, у Жуковского она выполняет ту же функцию, что и в поэме Гомера: «именно в ней фактически дается первое полное экспонирование Гектора...» [1. С. 73], а с другой – в «Малой Илиаде» эта сцена получает и дополнительные (чрезвычайно важные в концепции Жуковского) функции.

В композиции же поэмы Гомера эта сцена соотносима с разговором Гектора и Пулидамаса. И в том и в другом случае Гектор получает совет укрепиться в Трое и не принимает его. Очевидно разное содержание образа Гектора в VI песне и в XVIII: эти два эпизода в поэме Гомера «служат подготовке двух разнящихся эпизодов. В первом – поэт желает представить Гектора как мудрого мужа, отца семейства, заботящегося о своем городе, нежного и мужественного, способного трезво оценивать и предугадывать события, включение которого в бой – залог успехов троянцев. Во втором же Гектор представлен как предводитель, лишенный способности рассуждать здраво, безмерно возгордившийся, которого судьба ведет к неминуемой гибели» [1. С. 57–58]. Но у Жуковского Гектор во втором случае практически не отличается от Гектора в первом:

«Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ' ἐμοὶ φίλα ταῦτ' ἄγορεύεις,
ὅς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλῆμεναι αὐτίς ἰόντας...» XVIII, 285 – 286

Гнедич:

«Все для меня неприятное, Полидамас,
ты вещаешь, –
Ты, убеждающий вспять отступить
и в Трое скрываться!»

Жуковский:

«Полидамант, осторожный совет
твой теперь бесполезен;
Нам ли, как робким, бежать в
огражденную башнями Трои?»

Тон монолога Гектора Жуковский существенным образом меняет. У Гомера здесь используются местоимения «я» (ἐμοὶ) и «ты» (σὺ). Гектор говорит от своего лица, этим «я» Гектор противопоставляется в данном монологе интересам троян. У Жуковского Гектор не противопоставляет себя троянцам, что выражается в употреблении местоимения «мы», наоборот, он противопоставляет всех троянцев как «хороших мужей» «робким», что прямо отсылает к разговору Гектора с Андромахой. Этого противопоставления во втором монологе Гектора нет у Гомера, т.к. Гектор в этом пассаже «Илиады» принимает неправильное, губительное решение. Тогда как в «Малой Илиаде» хотя и переведены стихи 310 – 314 XVIII песни, но, во-первых, сокращенно (здесь можно отметить афористичность Жуковского, которая проявляется уже в его античных балладах), а во-вторых, эта мысль у Жуковского имеет отношение к объективному ходу событий, а не к решению Гектора отважно сразиться с Ахиллом, защищая Трои.

И, наконец, если в «Илиаде» после сцены разговора Гектора и Андромахи следует участие Гектора в бою, приносящее успехи троянцам, а после разговора Гектора и Пулидамаса наступает перелом и Гектор неминуемо движется к своей смерти, то в «Малой Илиаде» последнее – результат и первой, и второй сцены, то есть, по сути, выбора Гектора. В первом случае вступление Гектора в бой (а в «Малой Илиаде» это сразу бой с Патроклом) – в собственных стихах Жуковского, соединяющих 1-й и 2-й отрывки, прежде всего означает наступление «неизбежного часа судьбы», скорой гибели Гектора. И во втором случае слова «злое благому они предпочли» можно рассматривать как напоминание о приближении для Гектора «часа судьбы». Между этими двумя сценами в речи Фетиды также возникает мотив «часа судьбы» (241 – 242): «предназначенный час недалеко» – о Гекторе («ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ», ср. у Гнедича XVIII, 133: «погибель его не далеко»). Если в «Илиаде» Гомера как завязка действия в начале поэмы, так и развязка связаны с волей Зевса, то в «Малой Илиаде» боги (Зевс) не участвуют в принятии решения героями, больше того, оно не вытекает из происшедшего по воле Зевса.

Еще более важно, что «Илиада» Гомера завершается божественным примирением (и таким образом снятием конфликта), тогда как в «Малой Илиаде» финал драматичен, конфликт не только не снимается, но и не разрешается. Герои оставлены в самый напряженный момент событий, однако выбор ими уже сделан, т.е. в каком-то смысле конфликт разрешен во внутреннем мире героев. Это подтверждает вывод о том, что центральный конфликт «Малой Илиады» Жуковского – конфликт не внешний, а внутренний.

Композиционное единство «Илиады» строится «на симметричном расположении взаимоотражающих сцен» [1. С. 102]. Жуковский также строит «Малую Илиаду» на параллельном изображении выбора главных героев.

Фабульное пространство «Малой Илиады» включает в себя следующие топосы: «человеческое пространство» – Троя, лагерь троян, поле сражения, лагерь ахейн, в частности ставка Ахиллеса, «божественное пространство» – дно моря (подводный дом Фетиды), небо, Олимп, Аид, т.е. фабульное пространство сохраняет пропорции «Илиады» Гомера. Но важнее для Жуковского оказываются «пространственные точки», локусы, которые даны в восприятии героев: для Гектора и других троянских героев – Троя – поле сражения (противопоставление возможного спасения для троянских героев и Гектора и гибельного боя); для Ахилла и других ахейцев – враждебная, чужая Троя (т.е. все пространство Троянской войны) и родная земля, далекий дом. Таким образом,

пространство распадается на пространство войны, где герои исполняют свой долг, находятся по необходимости, и пространство дома, которое связано с представлением о счастье и жизни, т.е. модель пространства перевода Жуковского организована центральным конфликтом «Малой Илиады».

Таким образом, сопоставительный анализ текста оригинала и перевода Жуковского позволяет сделать вывод о том, что этические категории выбора и судьбы выполняют в художественной картине перевода миромоделирующие функции, организуя его поэтику (особенности композиции, систему персонажей, художественное время и пространство и т.д.).

ЛИТЕРАТУРА

- Гордезиани Р.В.* Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978.
Езунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII – XIX веков. М.; Л.: Наука, 1964.
Мани Ю.В. Динамика русского романтизма. М.: Аспект пресс, 1995.

М.А. Янушкевич

**МОТИВ МЕТАМОРФОЗЫ КАК ОСНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ
В «РОМАННОЙ ТРИЛОГИИ» В.О. ПЕЛЕВИНА
(К ПРОБЛЕМЕ АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ
В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ)**

Проблему преемственности поэтики постмодернистского романа по отношению к античному роману, как нам представляется, можно поставить априорно и гипотетически («так должно быть») уже хотя бы потому, что возникновение и расцвет романного жанра в античности, особенно в римской литературе, относится к тому периоду, который смело можно обозначить как «античный постмодернизм». Социополитическая ситуация – время начала упадка Римской империи – порождает такое качество мировоззрения, которое в исследованиях по постмодернизму принято называть «эпистемологической неуверенностью». Отсутствие определенно сформулированной политической доктрины и национальной идеи (какой была, например, *res publica restituta* и концепция мессинской роли римского народа времени принципата Августа) провоцирует обращение к практической философии и восточным религиям. Что касается литературы, то в ней очевидными тенденциями становятся распад четкого родового и жанрового деления (сам роман возникает на пересечении традиций риторики, историографии, философской прозы и при этом активно использует, часто в инвертированном и пародийном виде, достижения всех «старших жанров»: эпической поэмы, трагедии и комедии, буколической поэзии и пр.), подчеркнутая цитатность и вторичность (даже если учитывать то, что для римской литературы это нормальная ситуация), стремящиеся к центонности (Авсоний), появление феномена «мерцающей» авторской точки зрения (Петроний). Все это позволяет сделать предположение о сходных доминантах поэтики и проблематики одного и того же жанра (хотя античный роман принципиально отличается от классического европейского романа, но так же принципиально от последнего отличается роман постмодернистский) в рамках одного и того же направления и, соответственно, о том, что попытка сопоставительного анализа может оказаться плодотворной и открыть новые пути интерпретации постмодернистского романа.

Рассмотрим как пример реализации античной романной традиции произведения, пожалуй, самого популярного в России автора, работающего в рамках постмодернизма, творчество которого получает в литературоведении самые разнообразные и противоречивые оценки и истолкования, – В.О. Пелевина.

Романы Пелевина (уточним, что подробно рассматриваться будут первый и пока последний романы автора – «Жизнь насекомых» и «Generation «П», поскольку они предоставляют больше материала для анализа в избранном аспекте, чем роман «Чапаев и Пустота», но и этот роман будет фигурировать в общетеоретических построениях) дают возможность обнаружения не только типологического сходства с произведениями античных романистов; правомерность постановки заявленной проблемы подтверждают достаточно многочисленные и недвусмысленные прямые отсылки к античной парадигме. Особенно это очевидно в первом романе Пелевина «Жизнь насекомых», что, опять же, вполне закономерно: здесь, в первом опыте, ведущие приемы и приоритеты автора еще не маскируются и формально-содержательный «каркас» гораздо более очевиден, чем в следующих романах (хотя, нужно отметить, Пелевин всегда оставляет вполне четкие указания и сигналы, позволяющие следовать внутренней авторской логике в развитии сюжета и проблематики). Сам эпиграф к «Жизни насекомых» уже задает для всего романа определенный ракурс восприятия: «Я сижу в своем саду, горит свечильник. // Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. // Вместо слабых мира этого и сильных – // лишь согласное гуденье насекомых». Это цитата из стихотворения И. Бродского «Письма римскому другу (Из Марциала)», причем Пелевин не дает названия текста-источника, а только обозначает авторство, то есть рецептивная установка все-таки завуалирована, вследствие чего эпиграф может быть прочитан и воспринят двояко: вне контекста это сжатая модель всего романа (насекомые вместо людей; лейтмотив света, на который летят насекомые), при включении же отрывка в контекст эпиграф становится ключом к глубинному античному пласту романа. Действие романа происходит в Феодосии, которая в главе «Жить чтобы жить» обозначается как похожая на римскую провинцию; и именно из «глухой провинции у моря» пишет свои письма лирический герой стихотворения Бродского; кроме того, выбор Пелевиным именно Феодосии как топоса, возможно, обусловлен упоминанием в последней строфе «Писем римскому другу» имени Плиния Старшего, единственного из римских авторов, упоминающего Феодосию и, кстати, автора фундаментального труда «Естественная история», где достаточно много внимания уделяется насекомым. Пара сквозных героев романа (вернее, скорее всего, один герой в двух

ипостасях) – мотыльки Митя и Дима (москвичи, а не местные жители) – изображаются как римские патриции на отдыхе в провинции: эту ассоциацию создает постоянное сравнение их крыльев, сложенных за спиной, с длинным серебристым плащом, которое (сравнение) влечет за собой еще одну литературную параллель, подкрепленную мотивом луны и лунной дорожки – образ Понтия Пилата из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (тем более что творчество Булгакова явно входит в интертекст романов Пелевина: например, В.П. Руднев указывает на булгаковскую аранжировку «Чапаева и «Пустоты» [Руднев В.П., 2001. С. 551]), – и эта параллель, в свою очередь, еще раз подкрепляет общеантичную подоплеку романа. Кроме того, соотношение «Феодосия – римская провинция, Россия – Римская империя» дополняется упоминанием и обсуждением в тексте «Жизни насекомых» доктрины «Москва (Россия) – третий Рим»; пятая глава романа так и называется – «Третий Рим».

Следующая ключевая отсылка к античному мирообразу в романе Пелевина – имя Марка Аврелия, которого постоянно читает Митя. В момент одного из своих откровений Митя выполняет «мистический долг перед Марком Аврелием» – пускает со скалы самолетик, который сложен из листка со стихотворением Мити под названием «Памяти Марка Аврелия» (так же называется и глава 7 романа). В этом тексте упоминается имя сына Марка Аврелия – Луция Аврелия Коммода, правда, в каламбурно-абсурдном контексте: «Размышляешь об этом, выполняя назначенную судьбой работу, // И все больше напоминаешь себе человека, построившего весь расчет // На том, что в некоей комнате и правда нет никакого комода, // Когда на самом деле нет никакой комнаты, а только Коммод». Имя Марка Аврелия – это тоже знак, имеющий, как минимум, два значения: во-первых, философия Марка Аврелия, по-видимому, представляет для Пелевина некий репрезентативный образец западного солипсизма, что принципиально для философско-идеологической перспективы романа; во-вторых, как нам кажется, выбор именно Марка Аврелия, а не какого угодно другого философа-индивидуалиста обусловлен функцией этого исторического лица – последнего императора династии Антонинов – как маркера эпохи, к которой принадлежит творчество романного ориентира Пелевина – Луция Апулея. Но поскольку сравнение романов Пелевина с творчеством Апулея – это уже типологический аспект анализа, закончим сначала с прямыми отсылками к античной культурной парадигме.

Общеантичный колорит роману придают отдельные детали, связанные в основном с двумя сюжетными линиями —линией мотыльков, рассмотренной выше, и любовной линией (комар-американец Сэм и

муху Наташа); последняя линия имеет античный ореол, видимо, потому, что именно Сэм упоминает идею «Россия – третий Рим»: так, в сцене знакомства Наташа приземляется на тарелку Сэма, вид кушанья на которой минутой раньше Сэм мысленно сравнивает сначала с Помпеей, а затем с открывающейся ему панорамой Феодосии (таким образом Феодосия еще раз, теперь опосредованно, помещается в контекст античных ассоциаций); морское купание Сэма и Наташи напоминает Сэму какую-то греческую легенду (какую, он не может понять, как трудно это сделать и читателю, хотя сравнение скал в море с лабиринтом реминисцирует миф об Ариадне и Тесее); во время дождя статуя Ленина, увитая виноградом, представляется Сэму (хотя, возможно, не Сэму, а автору, но, тем не менее, именно в одном из эпизодов анализируемой линии) носовой фигурой корабля; Сэм бывал в Риме, читал Геродота и т.д.

Что касается романа «Generation «П», то в нем, скорее всего, реализуется тенденция к минимализации указаний на рецептивные предпочтения автора; с другой стороны, этот роман явно и подчеркнуто мифологичен и насыщен огромным количеством обращений к различным мифологическим традициям древности – шумеро-аккадской, семитской, египетской, ирано-авестийской – так что, вероятно, прибегать к античным реминисценциям даже и не имело смысла, и, с другой стороны, зияющее и вопиющее отсутствие античных мифологических мотивов в романе может быть и минус-приемом, неким от противного заданным углом зрения, установкой на то, что действие все так же происходит в «новом Риме», только теперь мы смотрим на него не извне (неслучайно Сэм, персонаж «Жизни насекомых», которому все в России напоминает античный мир, – американец), а изнутри.

Пожалуй, основной, установочной отсылкой к античности (и к роману «Жизнь насекомых») – кстати, романы Пелевина удивительно автореминисцентны, и постоянные переключки этих текстов создают новые смысловые уровни или актуализируют наиболее принципиальные – но это тема отдельного исследования) в «Generation «П» является все та же концепция «Россия – третий Рим», оказывающаяся вожаемой «национальной идеей», над разработкой которой мучаются рекламные криэйторы, представляющие собой единственную реальную власть в романе. У России даже есть своя историческая миссия общемирового масштаба, подобная идее мессианского предназначения римского народа эпохи Августа, наиболее четко выраженной Вергилием в VI книге «Энеиды». Как уделом римлян было объединение всех народов в Римскую империю и справедливое управление ими, обозначающее прекращение всяческих войн, воцарение социальной стабильности и «золотого века», так Россия по апокрифическому пелевинскому мифу должна спа-

сти весь мир от апокалиптического животного – пятиногого пса с непечатым именем – воплощения смерти богини Иштар, который спит в снегах России, и пробуждение его повлечет за собой мировую катастрофу. Кстати, доска, висящая у входа в резиденцию рекламистов и гласящая «Институт пчеловодства», определяется автором как «привет из античности»; касается эта характеристика дизайна доски или смысла надписи, остается неясным; если все-таки предположить не только первое, но и второе, то пчела в античной традиции была существом, непосредственно связанным с богами, производящим пищу богов (мед – основа нектара и амброзии, соответственно, бессмертия), кроме того, устойчивым было сравнение поэтов с пчелами, а меда – с поэзией [см.: Пчелы // Мифы народов мира. Т. 2. С. 354–356]; изображение кризиситоров в романе, думается, полностью соответствует этому кругу ассоциаций: рекламисты – это люди избранные, служащие богам и общающиеся с ними (причастность к культу Иштар), реклама, производимая ими, является земным телом богини Иштар, реклама же и есть средство получить бессмертие и стать богом (именно 3D-двойник главного героя романа Вавилена Татарского становится мужем богини); наконец, реклама становится в современности, описываемой Пелевиным, аналогом не только религии, но и поэзии (впрочем, в период архаики религия и поэзия действительно представляли собой синкретический конгломерат – ритуал): Татарский – поэт-неудачник (как и один из его коллег – Сергей Морковин – пародия на Маяковского), и процесс сочинения им рекламных слоганов описывается именно как творчество (постоянно употребляющиеся слова «вдохновение», «осенило» и пр.). Кроме того, текст таблички – это возможная отсылка к «Жизни насекомых».

К античным реминисценциям в тексте романа «Generation «П» можно отнести и рекламные слоганы на латинском языке (свое знакомство с латынью Пелевин обнаружил еще в «Жизни насекомых», дав автору одной из статей в газете «Магаданский муравей» фамилию Формиков, явно образованную от латинского *formica* – муравей). Симптоматично, что Татарский использует слоганы на латыни («*Mediis tempestatibus placidus*» – «Спокойный среди бурь» и «*Sta, viātor*» – «Путник, остановись») в своей самой первой рекламной работе и в рекламе, придуманной им в переломный момент его судьбы и действия романа и упоминающейся последней в тексте романа; таким образом, получается, что весь рекламный путь Татарского как бы помещается в рамку латыни и, следовательно, отсылка к античной традиции релевантна для всего сюжета в целом.

Итак, вернемся к проблеме преемственности постмодернистского романа, и романов Пелевина в частности, по отношению к романному

жанру античности. Представляется, что два субстанциальных признака пелевинской прозы и постмодернистского романа как такового, а именно, сочетание массовости и элитарности [см., например: Корнев С., 1997. С. 245–246; Курицын В., 2000. С. 174–176; Руднев В.П., 2001. С. 550] и «мерцающую» авторскую установку, можно возвести к роману Петрония «Сатирикон». С. Корнев в своей статье, посвященной творчеству Пелевина, в качестве интегрального признака постмодернистской картины мира выделяет именно состояние «игры на грани стеба» (определение Корнева) – «когда не ясно, говорят ли это всерьез, или это издевательство, пародия, или даже пародия на пародию» [Корнев С., 1997. С. 247]. Именно такая, игровая, принципиально неопределенная авторская позиция, как нам кажется, свойственна Петронию в его «романе-пародии», и дополнительным средством для этого становится избранная форма рассказа от лица героя (см. об этом: [Полякова С., 1969. С. 13–16]); более того, даже само понятие игры у Петрония глубоко амбивалентно: с одной стороны, игра-творчество – это единственное спасение от несовершенства жизни, утешение в ситуации гибели культуры и упадка нравственности; с другой стороны, жизнь – это тоже игра, и в этом заключается ее глубокий трагизм: человек, по Петронию, зол и аморален от природы, и все высокие чувства, добродетель, альтруизм – это игра, комедия, мим. Однако ни та, ни другая концепция игры не превалируют и даже не формулируются напрямую, но могут быть вычленены из текста романа. Так что, хотя С. Корнев, правда рассуждая о постмодернистской цитатности и отказываясь признать ее существенным признаком направления, утверждает: «Интертекстуальность, как открыл нам Бахтин, – это сущность не столько постмодернизма, сколько литературы вообще. В постмодернизме она просто приобретает сознательную и более выпяченную форму. А иначе и Достоевского, и даже божественного Петрония нам придется записать в постмодернисты» [Корнев С., 1997. С. 247], все-таки Петрония, выходит, можно считать предтечей постмодернизма, но по другому критерию.

К Петронию же восходит и форма романов В. Пелевина – классическая мениппея, сочетание прозаической речи и стихотворных вставок. Скорее всего, обращение к форме мениппеи опосредовано традицией Ф.М. Достоевского – еще одной принципиальной для Пелевина фигуры в русской литературе – и, возможно даже, трудами М.М. Бахтина, которого Пелевин наверняка читал.

Однако, как уже было сказано выше, представляется, что наиболее востребованная в произведениях Пелевина романная традиция античности – это традиция романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел», ориентация на который, скорее всего, может быть квалифицирована как

отличительный признак именно пелевинской художественной картины мира, его философской концепции.

В первую очередь, очевидно, что неким «суперсегментным», парадигматизирующим мотивом романов Пелевина является мотив метаморфозы, реализуемый в различных вариантах, на различных уровнях структуры романов и имеющий интегральную, генерализующую функцию для трех вроде бы написанных о разном и по-разному текстов; именно поэтому мы сочли правомерным определить «Жизнь насекомых», «Чапаева и Пустоту» и «Generation «П» как трилогию. Думается, можно дать следующее примерное определение архетипу метаморфозы, присутствующему во многих (или даже во всех) религиозно-мифологических традициях: метаморфоза – это метафора, оформляющая рефлексию о месте человека в мире, о соотношении в самой широкой формулировке внешнего и внутреннего, более узко – человека и природного мира, наконец, о сути индивидуальности, личности. Собственно говоря, эту же проблему в несколько видоизмененном, приспособленном к наиболее острому конфликту современности ракурсе, – а именно в развороте «человеческие представления / реальность», – напряженно решает Пелевин. Фундаментальным средством осмысления этой проблемы становится, в частности, буддийская картина мира, но в этой области автор статьи не чувствует себя компетентным, да и аспект рассмотрения романов Пелевина заявлен абсолютно иной. Поэтому сосредоточимся именно на мотиве метаморфозы, который с достаточной степенью уверенности можно считать наиболее характерным для античной мифологии или, по крайней мере, наиболее художественно и философски убедительно представленным в произведениях именно античной литературы; кстати, в литературе нового времени обращения к этому мотиву не так уж частотны (в качестве примера последовательно разворачивания этого художественного концепта на ум приходит только «Превращение» Кафки или являющее собой более сложный случай инверсии структуры метаморфозы «Собачье сердце» Булгакова; к слову, оба названных текста наверняка тоже входят в интертекст романов Пелевина), так что уже само возникновение мотива метаморфозы, тем более в таком глобальном масштабе, пожалуй, можно расценить как «античный след» в творчестве Пелевина.

Попытаемся схематично наметить видящуюся нам эволюцию концепта метаморфозы в рамках античной традиции. Метаморфоза для архаического сознания – вполне органичный процесс, обозначающий неразрывную связь человека с природой, от которой он ведет свое начало (тотемистические представления) и в которую возвращается. Кроме того, метаморфоза тесно связана с обрядом инициации: превращение в

животное – метафора временной смерти, испытаний в загробном мире (см. об этом: [Гиндин Л.А., 1979; Фрейденберг О.М., 1997]). Этапами осмысления явления метаморфозы в литературе можно считать поэму Овидия «Метаморфозы» и роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Для Овидия концепт метаморфозы – это пучок проблемных вопросов: с одной стороны, наличие в мире метаморфозы подтверждает идею вечности жизни, неуничтожимости живого, с другой стороны, продолжает существование только материя, дух же и тем более человеческая индивидуальность растворяются в природе, и это, с точки зрения Овидия, явно не положительный момент метаморфозы; амбивалентен, соответственно, нравственный смысл метаморфозы – наказание она или награда? Связь метаморфозы с инициацией у Овидия не актуализирована, поскольку он уже слишком далек от архаических ритуальных представлений, с философской же точки зрения метаморфоза почти не рассматривается в поэме, если не считать эпизодически возникающей пифагорейской трактовки метаморфозы в рамках учения о метемпсихозе (подробнее об этом см.: [Вулик Н.В., 1996]). Наконец, в романе Апулея метаморфоза приобретает как раз смысл философский и ритуально-аллегорический: двойное превращение Луция (человек – осел – человек) метафоризирует обращение, постижение истины, приобщение к сакральному; следовательно, в отличие от Овидия, практически полностью снимается проблема взаимодействия индивидуальности и мира (хотя заостряется проблема соотношения духовного и материального) и главной коллизией становится путь познания, то есть инициация, аранжированная образами и понятиями философии Платона (подробнее см.: [Григорьева Н., 1988. С. 5–24]).

Обращаясь к романам Пелевина, мы видим, что в наиболее непосредственном виде мотив метаморфозы представлен в первом романе «Жизнь насекомых», хотя метаморфоза выглядит вовсе не так четко, как в античной традиции: герои, как отмечает В. Курицын, «балансируют на непонятной грани между людьми и насекомыми» [Курицын В., 2000. С. 175]; впрочем, это «мерцание» облика людей-насекомых можно расценить и как поворот к архаике, где грань между природным и человеческим, человеком и первопредком была зыбкой и условной. В структуре романа обнаруживаются некоторые параллели с поэмой Овидия: в романе так же, как и в «Метаморфозах», 15 глав, сюжет строится как сложное переплетение и единство нескольких линий (комары, муравьи, мотыльки, скарабеи, клопы, цикады), весь текст пронизан автореминисценциями и отсылками от одного сюжетного блока к другому; кроме того, «Жизнь насекомых» заканчивается стихотворным блоком – цитатой из популярной песни, которая парадоксальным образом варьирует

мотивы заключительных строк поэмы «Метаморфозы», называемых «Памятником» Овидия. Римский поэт размышляет о своем месте в веках и о поэзии как средстве сохранить свою индивидуальность в цепочке метаморфоз, и последнее слово поэмы – *vivam* («я буду жить») оптимистично утверждает бессмертие творческой личности. Стихотворный же отрывок, заканчивающий «Жизнь насекомых», гласит: «Завтра улечу // В солнечное лето, // Будду (sic! – М.Я.) делать то, что захочу» – то есть тоже дает программу поведения героя, освободившегося от ложных представлений о себе и мире не без влияния буддизма (здесь Пелевин опять использует прием каламбурного введения значимого имени в стихотворный текст); корреспондирует с концовкой «Метаморфоз» даже заключительная форма будущего времени глагола.

Чтобы закончить с «овидиевым пластом» первого романа Пелевина, можно отметить, что сам образ Овидия, являющий собой архетип «поэта-изгнанника», возможно, суггестируется топиной «провинции у моря» и взгляда с периферии, заданной эпитафией и последовательно выдерживающейся, как было показано выше, в тексте романа.

К традиции Апулея, собственно говоря, можно возвести саму жанровую разновидность романов Пелевина, достаточно не характерную для постмодернистского романа. С. Корнев отмечает, рассуждая о романе «Чапаев и Пустота» (однако это построение с большей или меньшей степенью точности можно применить к любому роману Пелевина): «Это действительно философский роман – не только потому, что его герои непрерывно занимаются философскими рассуждениями, но и потому, что все движение романа подчинено экспликации некоей довольно абстрактной и сложной метафизической идеи» [Корнев С., 1997. С. 245]; и ниже: «<...> Под видом безобидных маленьких рассказов он (Пелевин. – М.Я.) на самом деле преподносит нам обычный для этой религии (здесь имеется в виду буддизм. – М.Я.) жанр проповедничества» [Корнев С., 1997. С. 249]. Роман Апулея написан именно с этой установкой – это роман внешне развлекательный, игривый, даже непристойный, но все художественные средства посвящены, во-первых, изложению философской концепции Платона, сложной и многоуровневой, во-вторых, приобщению читателя к религии Исида. Для Апулея, в отличие от Петрония, игрой, неистинным, комедией и мимом в жизни является зло, порок, смех над которым и выявляет его мнимость и в то же время обращает душу к истинному миру и настоящим ценностям. Возможно, положительный потенциал прозы Пелевина, отмечаемый тем же С. Корневым, связан не только с буддийским компонентом картины мира Пелевина, но и с тем, что «мерцающая» авторская установка пе-

трониевского образца сочетается в романах Пелевина с религиозно-философским аллегоризмом образа Апулея.

Аллегоризм романа «Жизнь насекомых» очевиден с первого взгляда и выводится на поверхность автором в финале, где упоминается имя И.А. Крылова. В. Курицын интерпретирует это как дань массовости [Курицын В., 2000. С. 174], что абсолютно не противоречит нашей концепции; представляется, что, кроме всего прочего, это указание на иной, глубинный смысл романа. В каждом из романов Пелевина избранный герой проходит своеобразную инициацию, постигает истинный смысл вещей или, поскольку употребление определения «истинный» для постмодернизма и пелевинских романов проблематично, убеждается в иллюзорности своей прежней системы мировосприятия. В «Жизни насекомых» такой герой – мотылек Митя, связанный с античной парадигмой, конкретнее – именно с эпохой жизни Апулея, фактом чтения Марка Аврелия. Лейтмотив образа Мити – стремление к свету, причем лунному; в главе «Памяти Марка Аврелия» Митя переживает откровение, понимая, что сам является источником голубоватого света (правда, это – только первая ступень инициации Мити, поскольку он еще не может выйти из рамок «жизни насекомых» и решает, что он не мотылек, а светлячок); наконец, решающий этап посвящения Мити – схватка с «внутренним трупом», то есть совокупностью ложных представлений о себе и мире (симптоматично, что глава, в которой описывается этот поединок, называется «Второй мир»: это отсылка к главе «Третий Рим», где Наташа спрашивает у Сэма, что такое второй мир, представляя себе, что такое «страны первого мира» и «страны третьего мира»; вероятно, подобное название главы можно интерпретировать, как указание на то, что «второй мир» – это некое трансцендентное знание, особое измерение, обретая которое, человек постигает себя, не опосредованного ни индивидуалистическими, ни коллективистскими представлениями). В контексте ассоциативных связей с «Метаморфозами» Апулея образ Мити выглядит как параллель образу Луция: имя Lucius имеет общий корень с латинским lux – «свет», и это значимо для Апулея; луна – светило Исиды; наконец, саму метаморфозу Луция можно определить как борьбу с «внутренним ослом» и победу над ним (логика метаморфозы выстраивается как овнешнение внутреннего несовершенства, познание через это зла мира и неистинности материального, преодоление собственной порочности и обращение к высшим смыслам бытия), так же, как путь познания Мити представляет собой выкристаллизовывание «внутреннего трупа» – ложного образа собственного «я» – и избавление от него. Наверняка неслучайно то, что Митя, изначально существующий как одна из ипостасей разрозненного множества – Митя, Дима, труп, – в

конце романа интегрирует себя и обретает имя «Дмитрий» (Деметриос, имя греческого происхождения, образованное от имени богини Деметры, отождествляемой с Исидой).

Переходя к характеристике мотива метаморфозы-инициации в романе «Generation «П», отметим, что роман «Метаморфозы, или Золотой осел» является некоей метаструктурой по отношению к «романной трилогии» Пелевина. По наблюдению Н. Григорьевой, роман Апулея состоит из трех частей: основной сюжетной линии – цепочки «милетских рассказов», самой большой вставной новеллы – сказки об Амуре и Психее, авторского философского мифа Апулея на фольклорной основе и одиннадцатой книги – рассказа об обращении Луция в религию Исиды, причем каждая из этих частей в основе своей имеет схему инициации и разными способами – аллегорически, метафорически и прямо – изображает историю посвящения Луция. Три романа Пелевина достаточно непротиворечиво укладываются в эту схему: «Жизнь насекомых» вполне соответствует основной линии романа Апулея – совокупности новелл о жизни простых людей, варьирующих одну и ту же тему неистинного существования в плену иллюзий; «Чапаев и Пустота», развернутый апокриф на основе советского мифа о Чапаеве и фольклора – анекдотов о Чапаеве, Петьке и Анке, сопоставим со сказкой об Амуре и Психее; «Generation «П», насквозь ритуально-религиозный роман, где изготовление рекламы изображается как служение богине Иштар, а творцы рекламы – как ее жрецы, каждый из которых мечтает стать верховным жрецом, земным мужем богини, коррелирует с 11-й книгой «Золотого осла».

Сюжет романа «Generation «П» и путь главного героя романа, Вавилена Татарского, совершенно очевидно построен как инициация, посвящение в таинства Иштар (отметим, что все центральные, иницируемые герои Пелевина наделены значимыми именами, причем имя уже несет в себе указание на смысл посвящения, то принципиальное знание, которое должен получить герой: об имени «Дмитрий» уже сказано выше, герой второго романа, Петр Пустота, постигает именно пустоту – то единственное, что реально существует в этом мире, имя же Татарского – Вавилена – почти совпадает с топонимом «Вавилон», который принципиален для культа Иштар). Собственно, и само слово «метаморфоза» неоднократно появляется в романе, неявно трактуящем этот мотив, в отличие от аллегорической «Жизни насекомых», где это слово не встречается ни разу. Татарский постоянно получает различные знаки и переживает откровения, помогающие ему продвигаться по ритуальному пути и, в конце концов, стать земным богом. Стержневой образ инициации в романе – восхождение на священный зиккурат Иштар и отгадывание

трех загадок богини, правильный ответ на которые дает возможность стать мужем Иштар. Вавилен Татарский сначала узнает об этом ритуале из подборки материалов по шумеро-аккадской мифологии под названием «Тихамат-2», по жанру представляющей собой примечания к неизвестному тексту, то есть, опять же, типичный апокриф; затем под воздействием настойки из мухоморов, оказывающихся ритуальным растением культа Иштар (кстати, по версии «Тихамат-2», одним из ингредиентов настойки является «моча красного осла» – и, возможно, это тоже отсылка к роману Апулея), Татарский совершает восхождение на «модель» зиккурата – недостроенное здание ПВО – и находит символические предметы – формулировки загадок (глава так и называется: «Три загадки Иштар»); дальнейший путь Татарского – это решение этих загадок. Первый этап посвящения – превращение из потребителя рекламы в ее творца (первый символический предмет, пачка от сигарет «Парламент», соотносится с первой удачной рекламной работой Татарского, открывающей ему доступ к «большой рекламе»), второй этап – постижение смысла рекламной деятельности и, одновременно, природы человека-потребителя рекламы (вторая загадка, монета с портретом Че Гевары и откровение, полученное от духа Че Гевары), третий этап – обнаружение механизмов конструирования реальности при помощи рекламы и, соответственно, тотальной виртуальности окружающего мира (третий предмет-подсказка – точилка в виде телевизора с нарисованным глазом и ЛСД-трип Татарского). После прохождения всех ступеней инициации Татарский посвящается в жрецы богини Иштар и его 3D-двойник становится ее мужем; главная же функция мужа Иштар – появляться в как можно большем количестве рекламных клипов, то есть эволюция Татарского выглядит так: потребление рекламы – изготовление рекламы – постижение рекламы – превращение в рекламу. По своей структуре эта метаморфоза-инициация фактически тождественна пути Луция в «Метаморфозах» Апулея, но у Пелевина глубоко амбивалентен сам смысл всего этого процесса. Иштар по некоторым параметрам может быть сопоставлена с Исидой: обе – богини плодородия, водной стихии, любви, в позднем восприятии – культуры, мудрости, однако Иштар имеет характеристики богини плотской любви и войны, которые чужды образу Исиды и в неоплатонизме приписываются двойнику-антагонисту Исиды – так называемой «земной Венере», ложной Исиде, которая (в образе служанки Фотиды) и становится причиной превращения Луция в осла; тем более, Иштар у Пелевина – воплощенное золото, а этот металл – как раз атрибут материальных антагонистов Исиды, в частности, Сета, бога палящего жестокого солнца. Мотив губительного огня, сжигающего мир потребления, возникает и в последнем откровении Татарского, ко-

гда выясняется, что один из основных богов культа Иштар, Энкиду, на самом деле – Ваал, в жертву которому сжигаются люди, а жертвенник (тофет) – это телевизор (вообще, мифологизирование Пелевина в его последнем романе отличается созданием головокругительных конструкций, установлением сугубо авторских связей между образами из разных мифологических систем, наподобие вышеприведенной параллели «Энкиду – Ваал (Балу)», переосмыслением традиционных образов, что в результате приводит к формированию некоей авторской мифологии современного общества – и это тоже тема отдельного исследования). Соответственно, однозначно оценить посвящение Татарского, думается, принципиально невозможно так же, как не до конца понятно в финале «Жизни насекомых», освободился ли Дмитрий полностью от мировоззрения насекомого или все-таки остался в его рамках, поскольку в последней главе романа он изображается с крыльями мотылька, а песню, которой заканчивается роман, можно расценить и как выражение реального освобождения от иллюзий, и как декларацию беспечного поведения насекомого (тем более что исполняется эта песня стрекозой – архетипом беспечности, маркированным появляющимся в этом эпизоде именем Крылова).

Таким образом, следующий, постмодернистский, этап функционирования в литературе мотива метаморфозы все-таки имеет присущий этому направлению, и творчеству Пелевина в частности, обертон – хотя метаморфоза так же, как у Апулея, имеет у Пелевина мистико-философский и ритуальный смысл, метафоризирует инициацию как процесс познания мира, определения места в мире человека, отграничения неистинного от истинного, но у Апулея этот путь для героя увенчивается однозначно положительным результатом, а у Пелевина герой, безусловно, освобождается от некоей суммы иллюзий – и это позитивный результат, но то, что он обретает, или опасно похоже на новую иллюзию, или просто не называется и не раскрывается читателю, что, впрочем, естественно, так как речь идет об эзотерическом знании. Собственно говоря, и в романе «Метаморфозы» Луций сообщает только о внешней стороне обряда окончательного посвящения в таинства Исиды и умалчивает о своих откровениях.

Итак, на примере анализа «романной трилогии» В.О. Пелевина очевидно, что античная традиция не только наличествует в произведениях постмодернизма, но является достаточно существенным элементом художественной картины мира и имеет принципиальное значение для исследования формально-содержательной структуры и интерпретации концепции автора.

ЛИТЕРАТУРА

- Апулей.* «Метаморфозы» и другие сочинения: Библиотека античной литературы. Рим; Москва, 1988.
- Пелевин В.О.* Жизнь наскомых. М., 1997.
- Пелевин В.О.* Generation «П». М., 1999.
- Вулих Н.В.* Овидий. ЖЗЛ. М., 1996.
- Гиндин Л.А.* Ритуально-мифологический смысл десятой песни «Одиссеи» // *Balkanica: Лингвистические исследования.* М., 1979. С. 190–200.
- Григорьева Н.* Магическое зеркало «Метаморфоз» // *Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения.* М., 1988. С. 5–23.
- Корнев С.* Столкновение пустот: Может ли постмодернизм быть русским и классическим? // *Новое литературное обозрение.* 1997. № 28. С. 244–259.
- Курицын В.* Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
- Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т.* М., 1991.
- Полякова С.* Об античном романе // *Античный роман (Татий, Лонг, Петроний, Апулей): Библиотека всемирной литературы.* М., 1969. С. 5–20.
- Руднев В.П.* Энциклопедический словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М., 2001.
- Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

И.В. Тубалова

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТАКСИС КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Современные исследования в области гуманитарных наук выявляют ряд категорий, составляющих основы мировоззрения человека на протяжении всего его существования. Одной из таких категорий, безусловно, является категория времени как система представлений человека о последовательности жизни бытия. Так, А.В. Юдин определяет три базовых мировоззренческих категории: представления о времени, представление о пространстве, представления о человеке, – среди которых именно представления о времени играют ведущую роль [Юдин А.В., 1999. С. 43].

Представления о времени, как и любые базовые категориальные структуры мышления, являются специфичными для каждой субкультуры. Объектом нашего анализа является диалектная, крестьянская традиционная культура. При этом нас интересует, как традиционные представления о времени воплощаются в эстетической подсистеме диалекта – в фольклоре – и как они участвуют в организации фольклорной эстетической системы.

Базовые категории традиционной культуры приобретают в любой эстетической системе особый статус – статус эстетической категории.

Изучение текстовых явлений в аспекте их эстетической значимости в современной лингвистике связано с работами В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Л.А. Новикова и др. Закрепление за различными языковыми явлениями результатов эстетического переживания фактов реальной действительности выражается в их «своеобразной семантической двуплановости (многоплановости)». Именно она и рождает образно-эстетический ряд в восприятии текста. /.../ Художественная «смещенность» и двуплановость семантики языковых единиц и всего текста, привнесение в него писательского видения, «кусочка» мифа делают произведение художественным, эстетически переживаемым» [Новиков Л.А., 2001. С. 55].

Специфика реализации эстетических категорий в фольклорном тексте связана с тем, что в их основе лежит та мифология, та модель мира, которая проявляется не только в собственно «художественных» фольклорных текстах, но и в текстах обрядовых, и – шире – в семантике обрядов и верований, проявляющейся на уровне динамического, вещного, музыкального, цветового, вегетативного и других кодов. Указанная семантическая двуплановость закрепляет в языковой семантике фольклора отношение не к индивидуально выстроенному автором художественного произведения мифу (как в литературно-художественном произведении), а к той народной мифологии, которую обычно называют традиционной.

Мифологический принцип организации для фольклорного мышления как эстетической системы становится ведущим.

Именно в связи с этим семантику категории времени в фольклорном тексте следует рассматривать как проявление, с одной стороны, сюжетной организации фольклорного текста, а с другой – как результат реализации коллективных мифологических представлений о времени, свойственных фольклорному сознанию.

Реализация семантики времени в фольклорном тексте, кроме реализации конкретно-логического содержания, приобретает ряд дополнительных функций, определяемых эстетическим переосмыслением действительности, в основе которого – мифологическое мышление.

Объектом рассмотрения в данной работе являются обозначения временных отрезков и временных точек, функционирующие в жанрах лирической песни, частушки, пословицы.

Анализ материала продемонстрировал, что в фольклорном тексте временные обозначения трех видов: обозначение временных отрезков циклического характера (компоненты годичного цикла, суточного цикла и т.д.), а также различные обозначения относительного времени – что произошло ДО или ПОСЛЕ устанавливаемой точки (скоро, раньше, рано и т.д., в том числе проявления оппозиции раньше / теперь).

Интересно отметить, что уже при первом взгляде на материал обнаруживается достаточно отчетливая жанровая ориентированность большинства средств выражения временной семантики. Только ограниченный круг исследуемых единиц регулярно употребляется во всех указанных жанрах: *утро / утром, зима, на заре, полночь, раньше / теперь, век, день, год, скоро* и некоторые другие. Говорить при этом о жанровой ограниченности сферы функционирования обозначений времени в фольклоре было бы неточно, но ярко выраженные приоритеты для указанных единиц очевидны.

Таким образом, уже количественный анализ позволяет обнаружить жанровую природу реализации семантики времени в фольклоре.

Специфика реализации семантики времени в **лирической песне** определяется спецификой самого песенного жанра. Эстетика лирической песни отдает предпочтение стабильным, нормативно обусловленным категориям, поэтому в лирических песнях категория времени выражается, в абсолютном большинстве случаев, посредством использования обозначений временных отрезков циклического характера. Такие единицы в лирической песне указывают на обозначение тех элементов временного цикла, которые с точки зрения нормативной системы мифологического сознания связаны с маркировкой определенных событий. Таким образом, темпоральные единицы для лирической песни выполняют функцию сюжетообразования, с одной стороны, и маркируют стабильный фольклорный сюжет – с другой. По утверждению Т.В. Цивьян, «указание на место и время может указывать и на соответствующий сюжетный ход» [Цивьян Т.В., 1990. С. 7].

Так, **весна** с точки зрения фольклорной эстетики проявляется не просто как время любви и счастья (что характерно и для других эстетических систем), а еще и как время нереализованной любви. Данная единица в лирической песне маркирует сюжет дисгармонии в любовных отношениях (иногда – шире – жизненной дисгармонии в целом). Это проявляется не просто в большинстве текстов данного жанра, а буквально во всем проанализированном материале: *Для кого весна отрадная, да, / А для меня отрады нет. / Ох, зачем же я, несчастная, да, / Уродилась на белый свет. // Не для меня цветет весна... // Стройные липы, дубы и березки, / Вам только зиму одну зимовать. / Настанет весна, с нею ливни и грозы, / Мне ж одинокой весь век вековать и т.п.*

Итак, **весна** в лирической песне связана с маркировкой ситуации, когда лирическая героиня оказывается не включенной в соответствующий норме жизненный цикл.

В этом аспекте интересен следующий текст, где принципиальное противопоставление цикличности и неповторимости, выраженное на сюжетном уровне, приобретает самостоятельное эстетическое значение: *Вот вернется весна, расцветут все цветы, / Расцветет и сирень голубая. / Ну а юность моя не вернется назад, / Пролетела пора золотая.*

Очевидно, что, так как весна в рамках картины мира, объективируемой традиционной культурой, представляется в качестве обязательного компонента годичного природного, естественного цикла, актуализация соответствующей единицы в фольклорном тексте сопровождается единицами, описывающими реалии характерного для данного времени состояния природного мира (*цветет весна, липы, дубы и березки, рас-*

цветут все цветы, ливни и грозы...), что подчеркивает его нормативность. Но в тексте лирической песни у *весны* появляются такие эпитеты, как *отрадная* и под., которые также становятся в фольклоре маркерами нормативной картины мира наряду с единицами, описывающими мир природы. Соответственно, выстраивается противопоставление: характеристика внутреннего состояния, соответствующего весне, и состояния лирической героини. Отметим, что это противопоставление в большинстве случаев поддерживается и структурно (*для кого... – а для меня... // вам... – мне ж...*).

Приведем фрагмент текста свадебной песни, где выключение героини из природного годичного цикла связано с замужеством («переход в чужой мир») и имеет развернутое сюжетное выражение: *Разлюбезные мои подруженьки, / Настанет ли весна красная, / Зажурчат ли ручьи весенние, / Расцветут ли цветы лазоревы, / Поспеют ли в поле ягоды, / Вы пойдете в лес по ягоды, / Не увидите ли мою / Там девичью красу? / Не сидит ли она где под кустиком? / Не плетет ли она / Русу косыньку?*

В приведенном тексте «свой» мир представлен описанием соответствующего норме состояния природы, за пределы которого попадает героиня в связи с переходом в «чужой» мир.

Интересно, что единицы, обозначающие остальные компоненты годичного природного цикла, в лирической песне актуализируются крайне редко (в охваченном материале единицы *осень*, *осенний* зафиксированы 2 раза, *зима* – 3 раза, *лето* – не зафиксирована), причем в приведенном выше примере по семантике единица *зима* составляет оппозицию единице *весна*, соответственно, по функции являясь вторичной. Мифологические основы крестьянской традиционной культуры предполагают установление прямого соответствия между временем пробуждения природы и развитием гармоничных отношений, что закрепляется в эстетике рассматриваемых лирических песен.

Кроме маркеров годового цикла, в эстетической системе лирической песни большую роль играют обозначения элементов суточного цикла: *день*, *ночь*, *полночь*, *утро*, *заря* занимается.

Ночь в символической системе темпоральных единиц связана или с мотивом смерти, смешением миров – что не является уникальным для эстетической системы фольклора (*При бурной ночи тихо, скромно / Скрывался месяц в облаках. / Моя возлюбленна подружка / Ушла на кладбище гулять. / Она гуляла до полночи, / Искала милого дружка. / Она нашла его могилу, / Главой на памятник легла. // Приворотник усмехнулся, / Твой уж сын давно убит, / Он расстрелян прошлой ночью / И в могиле крепко спит. // Она была очень красива, / И я не мог ее любить. / Она была очень красива, / Увы, в ту ночь ее убить.*), – или с се-

мантикой разрыва отношений между матерью и дочерью (...*А дочь моя с милым убежала / В осеннюю темную ночь. // Ты, расподлая дочь, / Где гуляла в сию ночь?*).

Если функционирование единицы *весна* связано с развернутой текстовой импликацией циклической темпоральной гиперструктуры, то единица *ночь* такой полной формальной выраженностью не связана, но устойчивость символической ориентации для данной единицы, проявляющаяся в целом корпусе текстов лирических песен и демонстрирующая неоднородность мифологического времени, определяет противопоставленность данного элемента цикла остальным его элементам.

Цикличность как обязательная смена дня и ночи проявляется в лирической песне и через устойчивое выражение *день и ночь*: «всегда», «долгое время» – «в течение всего цикла». Причем в этой функции употребляются только те единицы, которые обозначают базовые, непреходящие компоненты суточного цикла: *Потеряла я колечко, потеряла я любовь, / И по этому колечку буду плакать день и ночь* (ср.: *Зимой и летом одним цветом* – обозначения базовых компонентов годового цикла, реализованные в загадке).

Единицы, обозначающие переходное состояние в рамках суточного цикла, связаны с семантикой нарушения гармонии. Так, с мотивом расставания устойчивую связь демонстрирует семантика утра как перехода от ночи к световому дню – *заря / зорька, утро, солнце встает и др. (Только станет светать, / Зорька заниматься, / А со мной милый мой / Станет расставаться... / Милый мой, взгляни / В окно, горит заря. Пусти меня, / Как проснется мать моя / И станет спрашивать меня... // Ты вставай, / Милый мой, / Уже свет голубой. / Уже тихая заря, / Расставаться нам пора.)*.

Единицы с семантикой света, горения, а также единицы с семантикой начала (*станет расставаться, заниматься, проснется, станет спрашивать, вставай*) подчеркивают противопоставление гармонии смены дня и ночи и дисгармонии расставания, причем семантика начала всегда сопровождает в лирической песне переход от гармонии к дисгармонии (не наоборот), а переходные состояния суточного цикла «замедляют» этот нежелательный для героев переход.

Установление отношения к некой нормативно обусловленной точке отсчета в фольклорном тексте также является эстетически значимым. Носителями такого рода информации являются единицы «рано» и «поздно».

В лирической песне эти единицы представляют мифологически и эстетически обусловленную проекцию внутренних ощущений человека на структуру природных, естественных циклов, в результате чего фор-

мируется оппозиция «рано / поздно – вовремя», где «вовремя» связано с соответствием законам годичного/суточного циклов. При этом чаще всего в тексте имплицитно семастика цветения и увядания – вегетативных циклов – как параллель соответствующим эмоциональным состояниям. Таким образом, единицы «рано» и «поздно» фиксируют выпадение из цикла и, соответственно, нарушение поры, нарушение гармонии: *Сады, сады, сады зеленеют, / Ой, рано цветут, поздно опадают.* / *Милый ходит, ко мне не заходит.* / *Он заходит, долго не гостит.* // *Посылают по воду рано поутру.* / *Примерзают ручки к коромыслицу.* // *Уж ты сад, ты, мой сад, / Сад зелененький, / Ты зачем рано цветешь, / Осыпаешься.* / *Ой, далеко ль, милый мой, / Собираешься.*

Таким образом, в тексте лирической песни фиксация элементов мифологически обусловленных природных, естественных циклов (годичного и суточного) выполняет функцию обозначения жизненной гармонии, обычно противопоставленной дисгармонии сюжетной ситуации, в соответствии с которой возникает отторжение героев от участия в этом цикле.

Показатели восприятия времени как линейной структуры также занимают особое место в эстетике лирической песни.

Наиболее значимой в этом плане представляется единица *год*, употребляемая в параметрическом отношении. Год в символической системе лирической песни представляется как временной отрезок, по окончании которого ожидаются наступление определенных жизненных перемен (чаще – положительных, связанных с воссоединением): *Кольцо красота подарила, / Когда казак пошел в поход. / Она дарила, говорила, / Что через год буду твоя.* // *Вот год прошел, казак стрелой / В село родное поскакал.* // *Я завтра уплываю в море, / А через год я приплыву.* / *Поверь, поверь мне, дорогая, / Поверь, что я тебя люблю... // ...Вот год прошел, с меня краса увяла. / Ты разлюбил и стал совсем чужой.*

Время перемен в лирической песне может быть обозначено и другими единицами, но если *год* в лирической песне не наполняется событиями (сюжет фиксирует события, произошедшие ДО и ПОСЛЕ проживания года), то единицы *день*, *час* обозначают отрезки, связанные с особо значимыми, рубежными событиями: *Три дня, три ноченьки старался, / Сестру из плена выручал, / А на четвертый постарался, / Сестру из плена украл.* // *Последний день-денечек / Гуляю с вами я, друзья, / А завтра рано, чуть светочек, / Заплачет наша вся семья.* // *В последний час разлуки / С тобой, мой дорогой, / Не вижу, кроме скуки, / Утехи никакой.*

Особую роль в эстетике лирической песни приобретает реализация линейной модели времени в рамках темпоральной оппозиции «раньше –

теперь». Данная модель устойчиво реализует противопоставление эмоционально благоприятной ситуации в прошлом («раньше») и неблагоприятной – в настоящем («теперь»): *Где эти лунные ночи, / Где это пел соловей, / Где эти карие очи, / Кто их ласкает теперь? // Ты цвела, как / саде цветочек, / А теперь ты завяла, как трава. / Без него ты, как сонная, ходишь, – / До чего вас любовь довела!*

Отметим, что оппозиция «раньше – теперь» имеет статус общенародной (см. далее) и имеет сходное семантическое наполнение в различных жанрах.

Таким образом, в лирической песне как жанре, проецирующем гармонию / дисгармонию эмоционального состояния героев на нормативное для данной субкультуры состояние окружающего мира (проявляющееся, в частности, в нормативных законах течения времени), превалирует реализация циклических темпоральных моделей. Годичный и суточный временные циклы связываются в эстетике данного жанра с естественной жизненной гармонией, соответствующей гармонии внутреннего мира героев. Реализация линейной модели времени значительно менее частотна для лирической песни и связывается с обозначением перемен в жизненных обстоятельствах и – что более значимо – в эмоциональном состоянии героев.

В целом актуализация семантики времени в лирической песне всегда определяется художественной потребностью выразить отношение эмоционального состояния героев к нормативному (гармоничному) состоянию мира.

В частушке темпоральная семантика реализуется значительно реже, чем в лирической песне, и в большинстве лишается сакрального наполнения, реализуя конкретно-бытовые смыслы.

В частушке как жанре, призванном фиксировать эмоциональную реакцию на конкретную бытовую ситуацию, практически не проявляется реализация мифологических оснований циклической модели времени. Частушка – поздний жанр, фиксирующий осколочное сознание, модификации традиционных мифологических представлений, поэтому на первое место в этом жанре выдвигается социальная, а не естественно-природная обусловленность мировосприятия, и в частности – восприятия времени.

Некоторые признаки цикличности, в частности повторяемость, функциональную стабильность, приобретает в частушке *неделя* как социально обусловленный временной отрезок (безусловно, этот временной отрезок может быть рассмотрен и как мифологически обусловленный, но карнавализация, составляющая основу жанровой природы частушки, определяет переосмысление прежней мифологической формы в

конкретно-социальном аспекте). При этом в эстетике частушки выделяется два неравноправных компонента недели – *воскресенье* (праздник, выходной день) и будние дни, не связанные с актуализацией специальной номинации («не воскресенье»): *Всю неделю с милкой врознь, / В воскресенье вместе. / Гармонь нова, сторублева, / А мехов на двести. // Полюбила я милого, / Думала, что генерал. / Посмотрела в воскресенье, / Генерал коров погнал. // В воскресенье, в день веселый, / Нам лепешек напекут. / И помажут и покажут, / А поесть не дадут. // Седни праздник – воскресенье, / Я получше наряжусь. / Кринки на ноги надену, / Самоваром подвяжусь.*

Комический эффект в такого рода частушках как раз строится на частушечном разрушении сакрального смысла праздничного времени.

Темпоральные показатели «рано» и «поздно», в лирической песне связанные с фиксацией отношения к мифологической норме, в частушке реализуют норму бытовую, и суточный цикл, лежащий в основе этой нормы, также проявляется как социальный, семейно-бытовой: *Я на маменьку, на папеньку / Составлю протокол. / Приду рано, приду поздно – / Всё ложусь на голый пол. // Рано-рано я проснулась / И пошла на огород. / Трудовая, трудовая – / Набиваю полный рот. // Не ругай меня, маманя, / Не ругай так грозно. / Ты сама была такая – / Приходила поздно!*

Среди всех средств проявления темпоральности максимальную частотность в частушке демонстрирует реализация оппозиции «раньше – теперь». По утверждению А.В. Кулагиной, «антитеза *раньше – теперь* весьма характерна для частушек, противопоставляющих веселье и скуку /.../, отношение к семейным узам /.../, превратности любви /.../» [Кулагина А.В., 2000. С. 37]. Как и в лирической песне, реализация данной оппозиции связана с описанием эмоционально благоприятной ситуации в прошлом («раньше») и неблагоприятной – в настоящем («теперь»): *Была улочка любимая. Был приятный уголок. / А теперь иду я мимо, Только дует ветерок. // Уж мы жили-поживали, / Любовались красотою, / А теперь уж что случилось – / Разлучают нас с тобой. // Черный ворон выпил воду, / Берег с берегом сошлись. / Теперь, миленький, с тобой / Мы навеки разошлись. // Ох, кака была охотница / И плясать, и песни петь, / А теперича приходится в окошечко глядеть. // Дорогой, дорогой, / Дорожила я тобой. / А теперь, мой дорогой, / Расстаемся мы с тобой.*

Отметим, что данная оппозиция в частушке практически всегда получает структурную поддержку: компоненты оппозиции и связанные с ними по смыслу текстовые отрезки реализуются в разных частях частушки.

Таким образом, средства формализации временных отношений в частушке по сравнению с лирической песней представляются крайне ограниченными. Если их реализация в указанном жанре и демонстрирует внешнюю связь с мифологической темпоральностью, объективируемой традиционной культурой, то символическое содержание при этом лишается сакрализации и приобретает социально-бытовые основания.

Лирическая песня и частушка – жанры генетически связанные и хоть и с различной степенью выраженности, но сюжетно организованные. Пословица, в отличие от них, жанр, фиксирующий систему нормативных, ценностных представлений традиционной культуры.

Соответственно, реализация семантики времени в пословице связана с закреплением своеобразной темпоральной нормы – «что когда должно происходить» и «что когда необходимо делать».

Нормативная система пословицы, как и соответствующая система лирической песни, строится на основании мифологических представлений о природных, естественных циклах: годового, суточного и жизненного.

Годовой цикл связан с реализацией природного вегетативного цикла. При этом темпоральность в пословице, семантика которой основывается на структуре годового цикла, может отражать внешнее отношение человека к закономерностям природного мира (*В Сибири 9 месяцев зима, остальное – лето. / Сколько зима не строжись, все равно весна будет. / Весна всем людям красна*), отношение к включенности человека в годичный цикл (*В мае жениться – век маяться. / Рад бы жениться, да май не велит*), а также оценивать нравственно-бытовые качества человека через его включенность / невключенность в природный цикл (*Сопливый поросенок и в Петровки замерз*).

Суточный цикл представлен в пословице менее отчетливо. Его актуализация связана с предписанием норм бытового поведения человека (*Утром – чай, в обед – чаек, вечером – чаище! / У нашего Емели каждое утро с похмелья. // С утра счастья нет, так и к вечеру его не жди*).

Особую роль в эстетической системе пословицы играет темпоральность, связанная с системой жизненного цикла, где жизнь и смерть представляются как элементы единого цикла: *Человек живет век, а добрые дела – два. // На веку, как на долгом волоку, всякое бывает. // Живешь век – не человек, и помрешь – не скотина. // Молодой может, но не знает, старый знает, но не может. // Седина в голову – бес в ребро. // Век живи, век учись, а дураком помрешь. // Много будешь знать – скоро состаришься*.

Жизнь в пословице структурируется в виде значимых отрезков (в основном – *молодость* и *старость*), а смерть представляется как не-

структурированная (непознанная) сущность. Единица «век» связывается с обозначением всей человеческой жизни.

Особенно ярко нормативное предписание «что когда нужно делать» проявляется в пословице при реализации семантики «рано» и «поздно». Пословица, актуализирующая указанную семантику, передает общее содержание – «все нужно делать вовремя»: *Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. // Хорошая мысль приходит опосля. // Встала рано, да настряпала мало!*

Отметим, что такой вид темпоральности в пословице не имеет отчетливой проекции на циклические модели (хотя в последнем примере можно обнаружить некоторую связь с суточным циклом).

Представление о времени как о линейной структуре также находит выражение в пословице.

Достаточно отчетливо представлена в пословице линейная оппозиция «раньше – теперь». Как и в ранее рассмотренных жанрах, она выражает жизненную динамику «от лучшего к худшему», представляя жизнь как увядание, регресс: *Раньше девки любили, а теперь сопли одолели. // Было времечко – ели прянички.*

В результате анализа фольклорного времени как эстетической категории представляется возможным сделать следующие выводы.

В фольклорном тексте реализация категории времени приобретает функцию организации эстетического переосмысления действительности, в основе которой – традиционные представления о времени как неоднородном потоке, выраженном в форме циклических и линейных моделей, общефольклорная мифология.

Эстетическая природа реализации данной эстетической категории имеет жанровую обусловленность, причем система формальных средств ее выражения приблизительно одинакова для рассмотренных жанров, а эстетическое воплощение жанрово специфично.

ЛИТЕРАТУРА

- Кулагина А.В. Поэтический мир частушки. М.: Наука, 2000. 303 с.
- Новик Е.С. Архаические верования в свете межличностной коммуникации // Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. С. 110–163.
- Новиков Л.А. Значение как эстетическая категория языка // Избранные труды. Т. 2. Эстетические аспекты языка. М.: Изд-во РУДН, 2001. 842 с.
- Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира / Ин-т славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1990. 207 с.
- Юдин А.В. Русская народная духовная культура. М.: Высшая школа, 1999. 331 с.

Е.А. Оглезнева

**В МИРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АНТИНОМИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ «РАНЫШЕ» И «СЕЙЧАС»)**

Может быть, я идеализирую уходящую жизнь? Может быть. Человек склонен возвышать то, что он любит. Идеализируя уходящий образ жизни, возможно, мы, сами того не сознавая, предъявляем счёт будущему. Мы ему как бы говорим: вот что мы теряем, а что ты нам дашь взамен?

Фазиль Искандер

Человек существует, осмысляя свою жизнь и сравнивая ее с жизнью окружающих людей, со своей собственной жизнью в другие отрезки времени. Прошное и настоящее – одна из наиболее частотных тем, возникающих в разговорах с сельскими старожилками. Наши информанты – люди пожилого возраста (60–80 лет), проживающие в селах Амурской области. Они представляют поколение трудной судьбы, помнящее голодное детство, лихую военную годину, тяготы послевоенных лет и относительно благополучное советское время, «перестроенное» на новый лад скороспелыми демократами. Словом, жизнь как жизнь, в которой смена исторического сюжета не означала его улучшения.

Материалом анализа выступают тексты рассказов-воспоминаний, записанные во время диалектологических экспедиций 2001 г. в с. Черновка и Чембары Свободненского района. Нами были рассмотрены записи рассказов различной протяженности 22 информантов, общий объем которых составил 52 страницы печатного текста.

Основную цель нашей работы мы видим в выявлении фрагмента языковой (диалектной) картины мира, отражающей осмысление прошлого и восприятие настоящего, а также их оценку в диалектных рассказах-воспоминаниях. Для достижения этой цели необходимо как минимум указать на критерии, релевантные для сравнения прошлого и настоящего в рассказах диалектоносителей, и определить модальную рамку диалектных высказываний, сопоставляющих прошлое и настоящее.

Выявление и описание фрагмента диалектной картины мира народа является значимым в культурологическом отношении, поскольку она репрезентирует один из национальных культурных стратов – традици-

онную народную культуру (Н.И. Толстой: по: [Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1999. С. 14]).

Антиномия «раньше – сейчас» неизбежно возникает в рассказах-воспоминаниях о былом, которые относятся к монологическому жанру нарративного типа [Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1999. С. 40]. При текстовой реализации этого жанра в коммуникативном акте роль одного из партнеров общения – рассказчика – является ведущей. Тем не менее роль слушающего не является пассивной, поскольку своими репликами согласия / несогласия и оценки, мимикой, жестами он реагирует на речь рассказчика и, более того, своими вопросами может направлять ход беседы. Чаще всего рассказы-воспоминания о былом были инициированы собирателями диалектной речи, которые затем в ситуации коммуникативного акта выступали как активные слушатели.

Рассказы-воспоминания представляют сферу фактического общения, которое происходит главным образом не для передачи информации как таковой, а ради эмоционального и духовного общения собеседников. В речевом жанре «воспоминание» вербализуется прошлый опыт рассказчика, и тем самым сохраняется и передается «наиболее значимая в когнитивном, культурном, эстетическом, социальном отношении информация» [Демешкина Т.А., 2000. С. 101]. К числу важных условий реализации этого жанра относится неспешность, неторопливость обстановки общения, в противном случае его осуществление невозможно.

Как и любой другой речевой жанр, рассказ-воспоминание обладает своими собственными жанрообразующими признаками. Жанрообразующими признаками принято считать общность содержательно-тематической структуры, композиционную упорядоченность, а также специфический набор языковых средств и характер их использования [Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1999. С. 24; Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1999. С. 75].

К числу специфических языковых средств, неизменно и частотно присутствующих в рассказах-воспоминаниях, относится наличие лексем «раньше» и «сейчас» в структуре высказывания, соответствующего синтаксической конструкции с сопоставительным союзом *а*. Например: *«Раньше воздух чище был / а щас пылища / грязыща //»*¹. Лексемы «раньше» и «сейчас» выполняют роль ключевых слов в высказываниях указанного типа, поскольку в значительной мере определяют их содер-

¹ Запись диалектных высказываний осуществлена в соответствии с системой обозначений, принятой в работах по разговорной речи (см., напр.: [Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1999. С. 9–12]).

жение и форму. Именно такие высказывания выступают в качестве объекта анализа в настоящей статье.

Высказывания этого типа двукомпонентны, их первый компонент содержит лексему «раньше», а второй – лексему «сейчас» после сопоставительного союза *а*. Оба компонента высказывания предикативны. Схематично структуру высказывания можно представить так: «Раньше Х, а сейчас У», где Х и У соответствуют референционному содержанию высказывания. Союз *а* в таких конструкциях передает сопоставительное значение, соединяя части высказывания, в которых сообщается о предметах, признаках и действиях, сопоставимых в каком-либо отношении.

Предикативные компоненты высказывания могут занимать различные положения по отношению друг к другу. Чаще в препозиции находится компонент «раньше Х», а компонент «а сейчас У», как правило, постпозитивен. В случае препозиции компонента с лексемой «сейчас» высказывание соответствует схеме «сейчас У, (а) раньше Х». Например: *«Щас вообще воруют страшно // Раньше мазуриков меньше было / чем щас //»*.

Один из компонентов может быть невыраженным в структуре высказывания, но подразумеваемым, прогнозируемым. Например: *«Раньше молодежь не фулиганила //»* (подразумевается: «а сейчас молодежь хулиганит»). Опущен может быть и союз *а*, в этом случае его значение также оказывается формально не выраженным, но выводимым из общего смысла высказывания благодаря наличию в нем противопоставленных предикативных компонентов с лексемами «раньше» и «сейчас» (например: *«Раньше ручки красивые вышивали // Сейчас таких нет //»; «Раньше у нас в деревне клуб огромный / щас разбомбили //»*). Кроме того, форма наречия «раньше» генетически происходит из формы сравнительной степени, что предопределяет наличие предмета сравнения (сопоставления).

Лексемы «раньше» и «сейчас» в рассматриваемых высказываниях реализуют одно из своих основных значений (*раньше* – в прежнее время, прежде; *сейчас* – в настоящее время, теперь), характеризуя содержание высказывания с точки зрения его временной отнесенности. В качестве их эквивалентов в структуре высказывания могут выступать синонимичные им слова и сочетания *теперь, в наше время* (=сейчас), *тогда, при Сталину* (=раньше). Лексема *раньше* и ее эквиваленты указывают на отнесенность содержания соответствующего компонента высказывания во временной план прошлого, и это поддерживается грамматически формами глаголов прошедшего времени при этих лексемах, а лексема *сейчас* и ее эквиваленты определяют отнесенность содержания другого компонента высказывания во временной план настоящего, что также

поддерживается грамматическими формами настоящего времени у глагола. Хотя не исключено и переносное употребление форм времени.

Высказывания со словами «раньше» и «сейчас» в указанных значениях выполняют различные функции в пределах жанра «рассказ-воспоминание». Это собственно коммуникативная и коммуникативно-оценочная функции.

Собственно коммуникативную функцию выполняют высказывания, в которых сообщается о фактах реальной жизни, имевших место в прошлом и архаичных для настоящего времени или имеющих место в настоящем, но отсутствовавших в прошлом. Например:

Сейчас на машинах ездят / а раньше на конях извозом занимались //

Раньше холишу носили // Кто был побогаче / тот тонкий холст носил //

Бабки раньше лечили // Вот я однажды живот подорвала / меня бабка вылечила //

Раньше все в тимах ходили/ и тепло было // У нас тимокатня собственная была / мы сами валенки делали //

А щас на Амуре уже научились из тыквы варенье варить / из дынь варят //

Горшки / кувшины // Вы видели сёдня там делают что? Раньше кирпич делали / а сейчас...

Сейчас эта Чечня // Оне правду ведь не говорят //

Вот недавно самолет разбился / так соболезнавания говорили //

Сейчас аварии / тарракции всякие //

Коммуникативно-оценочные высказывания, кроме референционной части, соотносящей содержание высказывания с действительностью, включают в себя модальную часть, выражающую отношение автора к сообщаемому. Именно через эти высказывания оказывается представленной система ценностей и оценок, характерная для традиционной народной культуры.

Если выразить общую оценку того, что было «раньше» и что происходит «сейчас», представленную в диалектных высказываниях, то она будет выглядеть так: «Раньше было лучше...» (Плотникова А.П., 1926 г.р. и др.). Что же при этом подлежит сравнению, и какие стороны жизни, по представлениям диалектоносителей, позволяют делать сравнения не в пользу настоящего? Проиллюстрируем значимые для сравнения прошлого и настоящего характеристики действительности тематически организованными высказываниями из диалектных текстов.

Труд, отношение к труду

Раньше луч(ш)е было // Все работали // Я всю жисть топором пропахал// А щас все пьют / бичуют // Щас все алюминь(ий) воруют / молодежь не работает / только воровством занимаеца //

А кто работал? Кто нужду мает / тот и работает // А сейчас молодёжь работать не хочет //

Сейчас молодёжь бездельничает / работать некогда // А работу можно найти / они просто не хотят работать //

Сейчас молодёжь не работает // У меня племянница не работает / живёт в грязи / в собачнике //

Мораль, нравственность

Раньше люди добрее были / а теперь злоба какая-то //

Раньше работали с удовольствием / жили радостно // А над вами издеваются / жизнь у вас нерадостная //

Раньше трудились / ночью не боялся никто / а сейчас голову отрывать //

Мы раньше ничё не боялись / а сейчас все всего бояться // Парни обижают / материки говорят // Мы весело гуляли // Раньше было луч(ш)е // Сейчас люди злые пошли //

Раньше /.../ парни украдкой девушек целовали // А щас у всех на виду парень девушку обнимает / щупает // Прямо поганно смотреть // Раньше лучше было //

На Пасху все христосовались / никто не брезговал // А щас все брезгают // Потому что все распущенные / всякие болезни ходят //

Щас вообще воруют страшно // Раньше мазуриков меньше было / чем щас // Соседка моя одна в поезде одеяло своровала / дак позору было на всю деревню //

Прожили всю жизнь без крючка в доме // Раньше без замков жили / на вертушку закрывались // Даже в сенках крючка не было //

Раньше зерно не воровали // А сейчас всё разворуют / всё раскидают //

Раньше молодёжь не фулиганила //

А щас чё? Токо пьют да курют // Больше ничего они не знают / правда? И не успе(т) замуж выйти / уже на сохранении // Почаму она? Потому что она в молодости усю свою душу потрепала с кем зря / правда?

Раньше был это позор //

Здоровье

Раньше мы здоровые были / У меня молоко дурком бежало / а сейчас искусники одни // Я детей своих по два года кормила / не обижались на меня // Я молочница была / молока много было //

Четырнадцать лет я вот эти трубы таскала / они вон по сорок килограмм / зато щас ноги болят / ходить не могу //

Красота, красивое

Раньше /.../ Парни были красивые // У нас зять был метр д(е)вяносто //

Раньше ручки красивые вышивали // **Сейчас** таких нет //

Раньше посуда деревянная была / красивая / расписная // **А** **щас** внуки в школу утащили //

Веселье, развлечения

Раньше в бабки / горелки / лапту играли // Мы собирались / бабы / девки / мужики / и играли // Весело было // Как влупишь этим мячиком / так на спине пятно остается //

Сейчас чаштушки все похабные поют / все подурнели / поют шо попало //

Раньше у нас в деревне клуб огромный / **щас** разбомбили //

Мы **раньше** хорошо гуляли // Веселились / на вечерки собирались //

Песни **раньше** знали / **а теперь** ума нет //

Материальное положение. Богатство

Жить было трудно **раньше** / но кто работал / не голодовал //

Всё **раньше** было на заводе // **А теперь**... Всё поразвалили / всё порастащили / а...чё говорить!

Общественное устройство, власть, положение в обществе

При Сталину усе лучше жили // **А у наше время** работы нету // Все пьют / ни одного тюрёзого(трезвого) не найдёшь // **Щас** колхозы поразогнали //

Раньше ведь и куль картошки не украдешь / посодют //

У Думе **щас** дерутся / воду у морду льют // **А** этот Ельцин / уот отъелся // Унуки ночью сидять / усяку срамоту смотрют // Хлопцы наши до трех часоу безобразию эту смотрят //

(О)рдяна / медали / дипломы / мандаты // И на черта оно кому сейчас / деточки? Здоровье уклали / **а щас** кто обраща(е)т внимание на наши медали? **Раньше** хоть у колхозу заслуженная была / дак и мне хоть сотню давали лишнюю/ **а щас** ни черта / Прорабили/ дураки / и ладно // **А** вот кали скушно станет / достану уси свои (о)рдяна / медали / значки / усё // Поплачу / поплачу / диплом / мандат и уси свои похвальные // Поплачу / поплачу // **А щас** ручечки не хотят работать / болять // **Щас** усё болит / и руки / и ноги / усё болит //

Окружающий мир

Раньше воздух чишше был / **а щас** пылишша / грязышша // Дорогу построили рядом / так дышать нечем //

У нас здесь речка была глубокая / **а щас** один ручеёк остался //

Щас в колодцах даже воды нет // **Раньше** журавель был / **а щас** сломался //

Приведенные высказывания коммуникативно-оценочного плана осложнены модальной рамкой, или совокупностью оценочных суждений о сообщаемом, прямо не выраженных в структуре высказывания. Рассмотрим это на примере одного из коммуникативно-оценочных высказываний. Так, в высказывании *«Раньше люди добрее были, / а теперь злота какая-то //»* 1-й компонент («раньше Х») и 2-й компонент («а теперь У») обладают оценочностью, и причем полярной. Содержание 1-го компонента (*раньше люди были добрее*) сопровождается следующими модусами оценки и эмотивности – «это хорошо», «это вызывает одобрение»; содержание 2-го компонента (*а теперь злота какая-то*) – модусами «это плохое», «это вызывает неодобрение». Отметим особо тот факт, что настоящее находится за пределами положительных оценок – оно плохое, а прошлое, наоборот, оценивается говорящим как хорошее по сравнению с настоящим, т.е. находится в поле положительной модальности. Схему анализируемых высказываний с учетом поля модальности можно представить так: «Раньше Х (и это хорошо), а сейчас У (и это плохо)».

Полагаем, что представленная схема отражает особенности восприятия человеком своего прошлого и настоящего, которые суть явления не столько социального, сколько психологического и, смеем утверждать, физического свойства. Прошлое в определенной степени идеализируется, приукрашивается, видится рассказчиком в розовом свете, и этот розовый свет – свет из его молодости, когда были здоровье, силы, красота, незыблемое представление о правильном. Настоящее же как неоправданное ожидание и несбывшаяся мечта – и потому оно хуже. Следовательно, антиномия «раньше» и «сейчас» в рамках традиционной народной культуры решена как «раньше – хорошо», а «сейчас – плохо», о чем свидетельствуют многочисленные диалектные высказывания. Хотя, безусловно, достаточно объективных причин для того, чтобы содержание высказываний о настоящем находилось в поле негативной модальности. Но ведь и содержание многих высказываний о прошлом при отсутствии в них прямого сопоставления прошлого и настоящего с помощью лексем «раньше» и «сейчас» также включает отрицательную модальность (ср. *«Мама работала / в войну в школе мало училась // Где пришлось / там и работала бесплатно / от темна до темна / такое время было //»* и мн.др.).

Однако если более внимательно взглянуть в суть противопоставления прошлого и настоящего, попытаться понять, почему «не складывается» прошлое и настоящее, почему идеализируется то, что было раньше, и отчасти очерняется то, что есть сейчас, то можно увидеть, что в положительном образе прошлого, созданном в рассказах-

воспоминаниях нашими информантами, вырисовывается представление об идеальном общественном устройстве – мироустройстве в народном понимании, а в высказываниях о настоящем создается образ неправильного мироустройства с его опасными и уже очевидными проявлениями.

В традиционном народном представлении при правильном порядке жизни высоки моральные и нравственные устои общества, строго соблюдение христианских заповедей: не убий, не укради, возлюби ближнего своего, не подвергайся унынию, будь нравственно чистым, исполненным целомудрия. Такое утверждение становится возможным в результате интерпретации высказываний с учетом их семантики¹. См., например:

«Мы раньше ничё не боялись / а сейчас все всего боятся //» – т.е. не боялись ближнего, он был не опасен – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

«Раньше зерно не воровали // А сейчас всё разворуют / всё раскидают //» – т.е. не брали чужого – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

«Раньше люди добрее были / а теперь злоба какая-то //» – т.е. были благожелательными, делающими добро другим, отзывчивыми, готовыми помочь другим людям – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

«Раньше работали с удовольствием / жили радостно //» – т.е. испытывали чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний, не находились в мрачном подавленном состоянии духа – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

«Раньше /.../ парни украдкой девушек целовали // А щас у всех на виду парень девушку обнимает/ щупает // Прямо погано смотреть //» – т.е. были скромными, сдержанными в обращении, поведении, строгими в нравственном отношении – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

В традиционном народном представлении при правильном миропорядке есть возможность трудиться и быть вознагражденным за свой труд. См., например:

«Раньше луч(ш)е было // Все работали //» – т.е. все занимались каким-либо делом, трудились, добывая пропитание себе и своим близким – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

¹ Анализ семантики лексических единиц высказываний проводился с использованием данных «Большого толкового словаря русского языка» (сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 1998).

Правильный порядок жизни предполагает не только духовное, но и физическое здоровье человека, его внешнюю красоту и красоту окружающего его мира. Это тоже тот идеал, в соответствии с которым в понимании представителей традиционной народной культуры должен быть устроен мир. См., например:

«Раньше мы здоровые были / У меня молоко дурком бежало / а сейчас искусники одни //» – т.е. люди обладали физическим здоровьем, что необходимо для продолжения рода и здоровья потомства – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

«Раньше воздух чище был / а щас пылища / грязища //» – природа и среда обитания были комфортны, благоприятно отражались на самочувствии людей, доставляли приятные ощущения – и это норма, это хорошо, следовательно, так должно быть.

Таким образом, анализ высказываний с ключевыми словами «раньше» и «сейчас», характеризующих и оценивающих прошлое и настоящее народа, привел к воссозданию фрагмента диалектной картины мира, отражающего народное представление об идеальном мироустройстве, о должном порядке в нем.

ЛИТЕРАТУРА

Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 1998.

Демешкина Т.А. Теория диалектного высказывания. Аспекты семантики. Томск, 2000.

Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.

Федосюк М.Ю. Комплексные жанры разговорной речи: «утешение», «убеждение» и «уговоры» // Разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1996.

Раздел 3

IN MEMORIA

*Памяти профессора
Маины Николаевны Янценецкой*

МАИНА НИКОЛАЕВНА ЯНЦЕНЕЦКАЯ

Фрагменты научной биографии

Янценецкая Майна Николаевна родилась 8 октября 1930 г. в Ленинграде. Большая часть ее жизни – детство, юность, зрелые годы – связана с Томском. В 1953 г. после окончания Томского университета ее оставляют в аспирантуре при кафедре русского языка, которую Майна Николаевна завершает в 1956 г. успешной защитой диссертации, посвященной историческому синтаксису ("Относительные предложения в русском языке 18 в.") и начинает свою педагогическую деятельность: сначала – ассистентом кафедры русского языка Томского университета, затем, с 1957 г., – старшим преподавателем, позднее – доцентом кафедры русского языка Томского пединститута.

В 1963 г. ей присваивается ученое звание доцента, с этого же года по семейным обстоятельствам она переезжает в г. Ровно, где работает в Ровненском филиале Киевского университета в должности доцента, а с ноября 1967 г. – заведующего кафедрой языкознания.

В 1970 г. Майна Николаевна возвращается в Томский университет. В 1975 г. ее переводят на должность старшего научного сотрудника для работы над докторской диссертацией по словообразованию современного русского языка. В 1979 г. выходит из печати монография М.Н. Янценецкой "Семантические вопросы теории словообразования", отражающая теоретическую часть диссертационного исследования, которое Майна Николаевна защищает в марте 1984 г. В 1986 г. ей присваивается ученое звание профессора.

С 1987 г. М.Н. Янценецкая возглавляет кафедру общего, славяно-русского языкознания и классической филологии, в становление и развитие которой она вложила много сил, энергии, души.

30 июля 1992 г. – последний день жизни Майны Николаевны Янценецкой.

М.Н. Янценецкая обладала широкой лингвистической эрудицией. Круг ее научных интересов был связан с изучением различных проблем русистики в области словообразования и семасиологии, лексикологии и фразеологии, лексикографии и синтаксиса. Ее работы посвящены синхронному и диахронному анализу языковых явлений литературного языка и диалектов, выполнены в рамках описательной, сопоставительной лингвистики и лингвистического источниковедения, она одинаково глубоко проникала в тайны как глагольной, так и именной лексики.

Ранние научные разработки М.Н. Янценецкой связаны с теорией сложного предложения на материале русского литературного языка XVIII в. Одной из первых в стране она обращается к детальному изуче-

нию диалектной фразеологии и устойчивых сочетаний в теоретическом, сопоставительном и лексикографическом аспектах. Последнее предопределило ее устойчивый интерес к теории и практике диалектной лексикографии, которая стала одним из основных направлений ее научной деятельности. М.Н. Янценецкая – активный составитель таких коллективных лексикографических трудов, как семитомный дифференциальный Словарь среднеобских говоров, двухтомный Мотивационный словарь говоров Среднего Приобья. Она инициатор составления и редактор первых в России словарей нового типа: Обратного диалектного словаря, выдержавшего два издания, и Сопоставительного словообразовательного словаря среднеобских говоров, разработке принципов организации которых и их источниковедческих возможностей посвящен ряд ее работ.

Широкую научную известность М.Н. Янценецкой принесли ее труды, посвященные семантическим вопросам теории словообразования, к изучению которых она пришла, имея богатый научный опыт лексиколога и лексикографа.

Новизну и оригинальность словообразовательной концепции М.Н. Янценецкой составляют: развитие и уточнение ряда кардинальных понятий современной теории словообразования (понятия аналогии, мотивации и мотивационных отношений, понятия обобщенно-мотивационного значения и др.); разработка типов словообразовательной аналогии и ее связи с типами мотивации, типологии словообразовательных значений, многоуровневой семантической классификации производных существительных и глаголов с опорой не на лексикограмматическую принадлежность производящего, а на его семантику; привлечение обширного диалектного материала, позволившего выявить как общерусские тенденции словообразования, так и локальные, диалектные, и многое другое.

М.Н. Янценецкая является одним из основоположников теории диалектного словообразования, которая в наиболее полном виде в описательном, типологическом, сопоставительном аспектах нашла отражение в работах монографического характера: "Диалектное словообразование: Очерки и материалы", "О типологическом изучении словообразования среднеобских говоров", в ее докторской диссертации, фактическое же обоснование – в богатейших данных Обратного диалектного словаря и Сопоставительного словообразовательного словаря, первый том которого она успела сдать в печать.

В последние годы М.Н. Янценецкая развивала идеи функционального словообразования, много внимания уделяла подготовке научно-методических пособий по словообразованию, программ спецкурсов,

занималась научным редактированием лингвистических сборников, коллективных монографий, лексикографических трудов.

За успехи в научно-исследовательской работе М.Н. Янценецкая удостоена диплома I степени областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, дважды получила звание лауреата премии Томского университета.

Глубокие теоретические знания, лекторское мастерство, использование разнообразных методов обучения отличали М.Н. Янценецкую как педагога. За время своей преподавательской деятельности она разработала и вела лекционные курсы и практические занятия: "Введение в языкознание", "Историческая грамматика", "Старославянский язык", "Современный русский язык", читала спецкурсы и вела спецсеминары по вопросам литературного и диалектного словообразования. Ее педагогическая деятельность не ограничивалась рамками Томского университета: М.Н. Янценецкую неоднократно приглашали для чтения лекций и спецкурсов в вузы Западной Сибири и за ее пределы.

Талант ученого и педагога в полной мере проявился в работе с молодыми исследователями – аспирантами, соискателями, стажерами. Майиной Николаевной подготовлено 11 кандидатов наук, из них четверо защитили докторские диссертации.

О.И. Блинова

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ М.Н. ЯНЦЕНЕЦКОЙ

Относительные предложения с союзным словом "который" в литературном языке 18 в. // Учен. зап. Том. ун-та. 1957. № 30. С. 105–126.

Относительные предложения с союзным словом "кой", "какой" и др. в русском литературном языке 18 в. // Учен. зап. Том. ун-та. 1958. Т. 17. С. 158–176.

К вопросу о диалектной фразеологии // Учен. зап. Том. пед. ин-та. 1962. Т. 20, вып. 2. С. 44–48.

Некоторые виды устойчивых сочетаний в говорах Томской области // Сб. статей по вопросам языкознания и методики преподавания иностранных языков: Учен. зап. Том. пед. ин-та. 1964. Т. 22, вып. 1. С. 14–24.

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1967. Т. 3. 249 с. (В соавторстве с В.В. Палагиной, О.И. Блиновой, О.М. Соколовым, Ф.П. Ивановой).

К вопросу об именах существительных с утраченной уменьшительностью // Учен. зап. Том. ун-та. 1965. № 57. С. 71–81.

Морфолого-семантические связи отвлеченных существительных (к вопросу об избирательных возможностях суффиксов отвлеченного значения) // Актуальные проблемы лексикологии: Доклады лингвистической конференции. Томск; Новосибирск, 1971. Ч. 1. С. 102–110.

Опыт обратного диалектного словаря: Пособие по словообразованию / Ред. М.Н. Янценецкая. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1973. 170 с. (В соавторстве с О.И. Блиновой).

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби: (Дополнение). Томск, 1975. Т. 1. 278 с. (В соавторстве с О.И. Блиновой, В.В. Палагиной и др.).

Семантическая соотносительность глаголов на -ИТЬ и мотивирующих прилагательных // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Томск, 1976. С. 90–101.

Смысловая структура слова с лексикологической и словообразовательной точек зрения // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1977. Вып. 7. С. 58–68.

Словообразующие возможности имен существительных: Исследования по русскому и славянскому языкознанию // Труды Самарканд. ун-та. 1977. Вып. 332. С. 52–62.

Семантические вопросы теории словообразования. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. 240 с.

Вопросы диалектного словообразования в Сибири // Диалектное словообразование: Очерки и материалы / Ред. М.Н. Янценецкая. Томск, 1979. С. 6–22 (В соавторстве с Е.М. Пантелеевой).

Обратный словарь среднеобских говоров // Там же. С. 40–142. (В соавторстве с О.И. Блиновой и др.).

Среднеобский словарь: (Дополнение). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. Ч. 1. 180 с.; 1986. Ч. 2. 212 с. (В соавторстве с В.В. Палагиной, Н.Г. Нестеровой и др.).

Мотивационный диалектный словарь. Томск, 1984. Ч. 2. С. 114–146. (В соавторстве с О.И. Блиновой, Л.Г. Гынгазовой и др.).

Единицы сопоставительного описания литературного и диалектного словообразования (на материале русского языка) // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 265–270.

Словообразование. О типологическом изучении словообразования среднеобских говоров: Словообразование существительных // Русские говоры Среднего Приобья. Томск, 1989. Ч. 2. С. 122–171.

Семантические вопросы словообразования. Производящее слово / Ред. М.Н. Янценецкая. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. 237 с. (В соавторстве с Н.Б. Лебедевой, З.И. Резановой и др.).

О принципах построения диалектного словообразовательного словаря // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии: Актуальные проблемы подготовки и издания словарей. М., 1988.

О пропозициональной обусловленности словообразования // Принципы деривации в истории языкознания и современной лингвистике. Пермь, 1991. С. 54–55.

О.И. Блинова

РЕМОТИВАЦИЯ

(К СЛОВАРЮ ТЕРМИНОВ МОТИВОЛОГИИ)

Сфера научных интересов М.Н. Янценецкой отличалась своей широтой: словообразование и синтаксис, лексикология и фразеология, лексикография и морфология. Широтой характеризовался и круг исследуемых ею источников – литературный язык, диалекты, язык художественных произведений, и аспекты их изучения – синхронный и диахронный, онтологический и функциональный, семасиологический и ономасиологический.

Одной из проблем, живо интересовавших М.Н. Янценецкую в последние ее годы, – проблемы мотивологии: вопрос о разграничении словообразовательных и лексикологических представлений о сущности понятий мотивированности слова, мотивационных связей слов, о феномене внутренней формы слова [Янценецкая М.Н., 1979. С. 204; 1991. С. 17–32, 62–69]. М.Н. Янценецкая – один из составителей "Мотивационного диалектного словаря: Говоры Среднего Приобья" [Томск, 1982–1983. Т. 1–2.], совместная работа над которым мне как редактору этого нового типа словаря, построенного на базе новой, мотивологической, теории, позволила укрепиться в том, что не было еще до конца осмыслено и получило свое завершение в моей книге [Блинова О.И., 1984].

Как исследователь, М.Н. Янценецкая гармонично сочетала в себе дериватолога, семасиолога, мотиволога и лексикографа. Предлагаемая статья отражает две последние ее ипостаси и представляет одну из словарных статей лексикографической параметризации мотивологии. Первая попытка такой параметризации осуществлена автором в виде предельно краткого "Словаря терминов мотивологии", включающего около 200 терминологических единиц, не считая ссылочных [Блинова О.И., 2000а. С. 13–47]. Предлагаемая ниже словарная статья ориентирована на задуманный Словарь терминов мотивологии энциклопедического типа [Блинова О.И., 2000б. С. 33–36], структура словарной статьи которого включает следующие компоненты: 1) заглавное слово-термин или терминологическое словосочетание, 2) аббревиатура термина или словосо-

четания, 3) толкование термина, 4) иллюстративный материал, 5) краткая историографическая справка, 6) основная литература.

РЕМОТИВАЦИЯ – процесс обретения словом мотивированности на основе установления им мотивационных связей. Ремотивация обусловлена действием тенденции к мотивированности языкового знака. Ремотивация может быть лексической и структурной в зависимости от типа возникшей в ходе процесса мотивированности слова.

I. Ремотивация лексическая (РЛ) – процесс обретения словом лексической мотивированности, связанной с выражением мотивировочного признака в слове на основе установления им мотивационных связей; РЛ имеет разные формы своего проявления: в одних случаях этот процесс сопровождается преобразованием звуковой оболочки слова, в результате чего слово обретает мотивационную форму (значимые сегменты звуковой формы слова, обусловленные его мотивированностью) и мотивационное значение (значение мотивационной формы слова); напр., слово *муравей*, известное в древнерусском языке как *моровой*, будучи изолированным от других слов языка, установило мотивационную связь со словом *мурава* 'трава' и преобразовалось в *муравей*, обретя мотивационную форму – *МУРАВ/ЕЙ* и мотивационное значение – 'насекомое, <ползающее по> мураве'; в других случаях – возникновение мотивированности и, следовательно, появление внутренней формы слова осуществляется без внешних изменений лексической единицы; напр., *копейка* (производное от *копѣ*) мотивируется носителями современного языка словом *копить* (*КОПѣйКА* 'монета, <которую> копят'), *волнушка* (производное от *вѣлна* 'шерсть' – 'гриб с шерстистым краем шляпки') мотивируется словом *волнистый* (*ВОЛН/ИСТЫЙ* – 'гриб <с> волнистой <шляпкой>').

РЛ подвергаются главным образом имена существительные, реже – прилагательные и глаголы. В сферу РЛ вовлекаются как заимствованные слова, напр., *веер* (из немецк. *Fächer* 'то, чем обмахиваются') в русском языке мотивируется словом *веять* – *ВЕЕр* 'то, чем веют', *бахилы* 'сапоги болотные' (из коми *bakile*) мотивируется звукоподражательным *бах* и глаголом *бахать* – *БАХилы* 'обувь, <издающая при ходьбе по болоту звук> бах-бах', *каротель* (из латин. *carota* 'морковь') мотивируется словом *короткий* – *КОРОТель* 'короткая морковь', так и исконные; напр., *черёмуха* (от *черёмый* 'смуглый') мотивируется словом *чёрный* – *ЧЕРёмуХА* 'дерево <с> чёрной <ягодой>'; *стол* (от *стлать*) мотивируется глаголом *стоять* – *СТО/Л* 'мебель, <которая> стоит', *пекло* (от *пекъ* 'смола') мотивируется глаголом *печь* – *ПЕК/ЛО* 'когда печёт, палит'.

Процесс РЛ наблюдается во многих языках мира, в том числе и в славянских. Слова, подвергшиеся этому процессу, обнаружены в англ-

лийском, французском, немецком, испанском и многих других языках. Широкий ареал действия процесса, а также характер и формы его проявления привлекли к нему внимание многих ученых мира. В монографии польского исследователя В. Ченьковского "Теория народной этимологии" (Варшава, 1972) приведена библиография, насчитывающая около 400 работ, посвященных процессу РЛ, и названы 162 языковеда, анализировавших этот процесс. Существенный вклад в разработку явления РЛ внесли И.А. Бодуэн де Куртенэ (1873, 1889), И. Карлович (1878), Н. Крушевский (1879), Г. Пауль (1880), И. Шишманов (1893), В. Вундт (1900), Ф. де Соссюр (1915), Ж. Жильерон (1918), А. Доза (1922, 1946), В. Вартбург (1925), Ж. Вандриес (1953), Р. Бертолотти (1958), В. Пизани (1947, 1960), Т. Шиппан (1962), Е. Майер (1962), В. Ченьковский (1972), Т.А. Гридина (1986), М.В. Курышева (1989) и др.

Процесс РЛ получил разное терминологическое обозначение: "народная этимология" (Е. Ферстеман, И.А. Бодуэн де Куртенэ, О. Духачек и многие другие), "ложная этимология" (А.Ф. Ленкова, Ш. Балли), "статическая этимология" (Ж. Вандриес), "семасиологизация", "семасиологическая ассимиляция" (И.А. Бодуэн де Куртенэ), вторичная этимология (Ж. Жильерон и Ж. Гугенейм), "лексическая ассимиляция" (Н. Крушевский), "ассимиляция" (К. Андерсен, Р.Р. Гельгардт), "паронимическая аттракция" (А. Доза), "реэтимологизация" (С.С. Маслова-Лашанская, Т.Г. Аркадьева), "этимологическая реинтерпретация" (В. Ченьковский), "ремотивация" (Т. Шиппан, О.И. Блинова, М.В. Курышева).

Все терминообозначения, содержащие компонент "этимология", не точно передают суть рассматриваемого процесса: этот процесс заключается не в поисках носителями языка этимологии соответствующих слов, а в стремлении мотивировать слова, закрепить их ассоциативной цепочкой в памяти, что фиксирует термин "ремотивация". Остальные термины, приведенные выше, отражают разные стороны процесса РЛ.

Факты ремотивированных слов начали изучаться с 1852 г., когда Е. Ферстеман опубликовал статью "Über deutsche volksetimologie". В статье "народная этимология" трактуется как процесс естественный, осуществляемый в рамках нормальных языковых изменений. Позднее в языкознании утвердился взгляд на РЛ как на курьез, как на процесс, имеющий деструктивный и патологический характер (ср.: "ложная этимология", "ложная мотивация"). Исследования последних лет (О.И. Блиновой, Т.А. Гридиной, М.В. Курышевой) лишены этого взгляда.

2. Ремотивация структурная (РС) – процесс обретения словом структурной мотивированности, связанной с выражением классификационного признака в слове, на основе установления им отношений структурной мотивации. Возникновение в слове структурной мотивиро-

ванности, отражающей классификационный признак обозначаемого, осуществляется разными способами: а) путем наращивания формантной части; напр., *лохань* → *лоханКА* (ср.: *кадка*, *бочКА*), *метель* → *метелиЦА*, *гололёд* → *гололедИЦА* (ср.: *растутИЦА*); *смоква* → *смоковНИЦА* (ср.: *лиственНИЦА*); б) путем вычленения конечного сегмента слова, который осознается в качестве его формантной части; напр., *керосин* → *керосИН* (ср.: *бензИН*), *вьюга* → *вьюГА* (ср.: *турГА*), *дибазол* → *дибазОЛ* (ср.: *валидОЛ*); в) путем преобразования конца (реже – начала) слова как следствия установления им отношений структурной мотивации; напр., в народно-разговорной речи *журавль* → *журавЕЛЬ*, *кронштейн* → *кроншиЕЛЬ*, *дятел* → *дятЕЛЬ* (ср.: *дупЕЛЬ*), *горноста́й* → *горностальЬ* (ср.: *собо́ль*, *выхухольЬ*), *глухарь* → *глухАЧ* (ср.: *косАЧ*, *держАЧ*); г) путем замещения иноязычного форманта исконно русским; напр., в народно-разговорной речи: *планировать* → *планОВАТЬ*, *консервировать* → *консервИТЬ*, *спекулировать* → *спекулянНИЧАТЬ*, *студент* → *студИК* (ср.: *учениК*).

Процесс РС, как и лексической ремотивации, отражает тенденцию к мотивированности языкового знака. Структурная соотносительность лексических единиц обычно осуществляется на базе конца слова и того категориального значения, которое имеет мотивационная модель с определенным концом слова, и принадлежности его к той или иной тематической группе. Этот процесс охватывает слова разных лексико-грамматических разрядов. Чаще ему подвержены слова, не имеющие структурной мотивированности, напр., *скот* → *скотИНА*, *плешь* → *плешИНА*, *холст* → *холстИНА*, *синь* → *синЕВА*, *сельдь* → *селёдКА*, или, с точки зрения носителей языка, с недостаточно выраженной структурной мотивированностью, напр., *метель* → *метелиЦА*, *солеварня* → *солеварНИЦА*, *скворечня* → *скворечНИЦА*, *логово* → *логовИЩЕ*. Такие факты иллюстрируют тенденцию к предельной структурной мотивированности слова, приводящей, по выражению В. Ченьковского, к "дополнительной интерпретации" (*dointerpretowanie*).

Процесс РС относится к числу малоисследованных. До недавнего времени отдельные факты этого процесса рассматривались в работах, посвященных "народной этимологии", и немногими языковедами явления структурной ремотивации отграничивались от явлений лексической ремотивации, получая закрепление в терминах: "морфологизация" (И.А. Бодуэн де Куртенэ), "морфологическая прозрачность" (В. Ченьковский). Изменения внутрисловной структуры слов, обусловленные тенденцией к мотивированности языкового знака, анализировались в работах Н. Крушевского, В.А. Богородицкого, И.А. Бодуэна де Куртенэ, В. Ченьковского. Интересен в связи с этим комментарий

И.А. Бодуэна де Куртенэ, данный им в статье "По поводу новейших лингвистических трудов г. Богородицкого": "Когда создавший слова *не-бель*, *не-крут* простолюдин слышал впервые слова *мебель*, *рекрут*, для него эти слова представлялись морфологически нерасчлененными, и ему самому пришлось членить их на *не-бель*, *не-крут*". И далее: "Если же в Чебоксарах Пензенской губ. (а думаю, что не в одном только этом городе) можно встретить произношение "*дифтерик*" вм. "*дифтерит*" <...>, то, конечно, не вследствие замены одного звука другим (как верно замечает г. Богородицкий), а просто потому, что сочетание звуков *-it* (*-ит*) не есть для русского суффикс, между тем как живой уменьшительный суффикс *-ик* так и напрашивается на принятие его в состав этого морфологически непонятного, ибо нерасчлененного слова" [Бодуэн де Куртенэ И.А., 1963. С. 46].

На видоизменения внутренней формы слов как следствие межсловных связей обращал внимание В.В. Виноградов: "Внутренние формы слов, – писал он, – исторически изменчивы. Они обусловлены <...> характером отношений между элементами семантической системы" [Виноградов В.В., 1947. С. 18].

Подробно процесс структурной ремотивации слова, с выявлением форм проявления процесса, факторов и причин его, сфер действия, рассмотрен в работах О.И. Блиновой (1984) и М.В. Курышевой (1989).

3. Обе разновидности процесса ремотивации, несмотря на то, что сфера их проявления разная: лексическая ремотивация связана с началом слова, а структурная – с его концом, – взаимосвязаны и отражают отношения "между элементами семантической системы языка". Обе разновидности процесса могут проявить себя в одном и том же слове; напр., адаптация иноязычного слова *гладиолус* (из латин. *gladiolus* 'меч-трава') в русском языке, по данным психолингвистических экспериментов, сопровождалась установлением мотивационных связей со словами: *ГЛАДкий* и – *фикУС*, *крокУС*, в итоге оно обрело внутреннюю форму *ГЛАДиолУС* 'цветок <с> гладкими <листьями>', отразив оба процесса – лексической и структурной ремотивации. Те же процессы сопровождали адаптацию иноязычных слов *норка* (из финск. *nyrk*, *nirk* 'ласка') → *НОР/КА* 'зверёк, <обитающий в> норе' (мотивирующие единицы: *НОРа* и *белКА*, *кошКА*), *кружка* (из нем. *Krug* 'кружка, кувшин') → *КРУЖ/КА* 'посуда круглой <формы>' (мотивирующие – *КРУГлый* и *мисКА*, *чашКА*, *тарелКА*), *рубанок* (из нем. *Raubank* 'рубанок') → *РУБ/АНОК* 'плотничий инструмент, <которым как бы> рубят' (мотивирующие – *РУБить* и *фугАНОК*) и др.

Не только системный, но и синхронный характер обоих процессов находит многочисленные подтверждения в контекстах, отражающих

реальную речевую практику. Так, например, слово *мухоморник* ‘гриб мухомор’ в речи носителей среднеобских говоров контактирует и с исходным словом *мухомор*, подвергшимся структурной ремотивации, и с мотивирующими его словами – *муха*, *подкопытник*: *Мухомор, или мухоморник. Сверху шляпка красна и крапинки по ней белые, как сметанка наложена. Отрава для мух сильна // Грибы растут всякие. Мухоморник – это гриб большой, мухомор, шляпка красная в крапинку // Подкопытники, они, эти грибы, растут на полосах, мухоморники, их, эти грибы, тоже не едят* [Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья. Томск, 1983. Т. 1. С. 222].

О механизме, внутренней пружине ремотивации просто и верно сказал Н. Крушевский: “...непонятное народу по происхождению, а часто чуждое и по звукам, слово ассимилируется к какому-нибудь известному, хоть сколько-нибудь близкому по звукам...” [Крушевский Н., 1879. С. 116]. В итоге осуществляется не только процесс обретения словом мотивированности, но и процесс паронимических сближений, которые следует строго разграничивать, чего не наблюдается во многих работах по “народной этимологии”. При паронимическом смешении, в отличие от ремотивации, не происходит преобразования той или иной лексической единицы: вместо одной употребляется другая, ее пароним. Например, в городском просторечии вместо *плафон* употребляется *флакон*, вместо *патиссон* – *патефон*, вместо *иллюминация* – *иллюстрация*. Паронимия составляет предел лексической ремотивации слова. Границей лексической ремотивации является квазиремотивация – результат преобразования слова в процессе паронимических сближений: *керосин* → *карасин*, *велосипед* → *лисaped*, *плитус* → *блинтус*, *фасоль* → *квасоль* и под.: квазиремотивация не приводит к возникновению мотивированности слова и завершается на стадии ассоциативных звуковых связей.

“Ремотивация вступает в своеобразные отношения с явлением демотивации слов: с одной стороны, это взаимоисключающие процессы, с другой – демотивация обуславливает ремотивацию, является отправной точкой для развития ремотивации <...> Эти процессы диаметрально противоположны – и в то же время взаимосвязаны, способны сменять друг друга: когда кончается действие одного процесса, начинается действие другого. Таким образом, ремотивация включена в процесс общего развития языка: **НОМИНАЦИЯ / возникновение мотивированной единицы / – ДЕМОТИВАЦИЯ – РЕМОТИВАЦИЯ – ДЕМОТИВАЦИЯ – РЕМОТИВАЦИЯ...**” [Курышева М.В., 1989. С. 7–8].

ЛИТЕРАТУРА

Блинова О.И. Русская мотивология. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000а. 48 с.

Блинова О.И. Лексикографическая параметризация метаязыка мотивологии // Методология современной лингвистики: Проблемы, поиски, перспективы: Сборник статей. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000б. С. 33–40.

Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. 192 с.

Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. 240 с.

Янценецкая М.Н. Внутренняя форма слова и ее функции в системе языка // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Проблемы семантики. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. С. 62–69.

Янценецкая М.Н., Резанова З.И. К проблеме внутренней формы слова // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Проблемы семантики. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. С. 17–32.

Н.Д. Голев, К.И. Бринев
**О СООТНОШЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО
И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АСПЕКТОВ
ПРИ ОПИСАНИИ МОТИВИРОВАННЫХ СЛОВ
В СИСТЕМЕ И ТЕКСТЕ**

Основной вопрос, обсуждаемый в нашей статье, – взаимоотношение лексического и словообразовательного синхронического подходов к мотивированному слову. Проблема эта не нова, но до сих пор остается в числе тех дериватологических проблем, которые остались до конца не решенными. Наиболее систематическое ее изложение находим в работах М.Н. Янценецкой, прежде всего в ее докторской диссертации «Семантические вопросы теории русского словообразования (аспект взаимодействия словообразования с лексикой)» [Янценецкая М.Н., 1983], защищенной в 1983 г. В центр разграничения лексического и словообразовательного М.Н. Янценецкая ставит отношение к аналогии: стремление к точному следованию ей, характеризующему словообразование и систему его средств (прежде всего аффиксальных), и возможность опоры на неполные и приблизительные аналогии, характерные для лексики. От последних исходит дестабилизирующее (энтропическое?) влияние на словообразование, которое оно стремится преодолеть различными путями. Непрерывная «борьба» лексики и словообразования рассматривается в диссертации как основная движущая сила функционирования и развития словообразования русского языка как на уровне системы, так и на уровне текста. В этой борьбе рождаются промежуточные образования, снимающие «антагонизм» лексики и словообразования и способствующие их систематическому взаимодействию, к таковым, в частности, относятся «обобщенно-мотивационные значения». Важными выводами исследования М.Н. Янценецкой явились положения об относительной независимости лексической и словообразовательной мотивации и в этой связи – о лексической природе многих видов мотивации (нерегулярных, опосредованных, сопровождающих и т.п.), обычно рассматриваемых до этого как сугубо словообразовательные, хотя и периферийные. Особенно ярко независимость и особость лексической мотивации проявлялись в тексте, где однокорневые слова «сцеплялись» достаточно произвольно

(с точки зрения классической словообразовательной мотивации), ориентируясь чаще всего на лексико-семантические отношения.

Такой подход был достаточно новаторским для того этапа развития дериватологической теории, на котором единство словообразовательного и лексического было незыблемым постулатом, заявленным еще Г.О. Винокуром в его знаменитых «Заметках по русскому словообразованию» [Винокур Г.О., 1959. С. 419–443] и нашедшим последовательную реализацию в 60–70-х годах¹. Единство в этой концепции достигалось за счет теоретического признания и осуществления в практическом описании производной лексики примата лексического (лексико-семантического) начала над словообразовательным началом, который «приспосабливался к первому, или, другими словами, «левоцентристской» [Янценецкая М.Н., 1979. С. 242, с. 16] модели описания производного слова – над «правоцентристской»².

В системно-структурном плане такой примат обеспечивался рядом положений, среди которых наиболее значимы следующие.

1) Сама производность (словообразовательная мотивация) / непроизводность обуславливается наличием / отсутствием производящего слова и возможностью установления определенного типа семантико-детерминационных отношений между двумя однокорневыми словами. Отсюда, например, непризнание словообразовательно мотивированными слов типа *прибавить* или *прикрыть* (нет слов *бавить* и *крыть* в соответствующем, мотивирующем, значении).

2) Признание примата отношений над структурой, функции над субстанцией, семантики над формой, что определяло выводимость словообразовательной структуры из лексико-семантических отношений. Отсюда не *нить* – *нитка*, но *нитка* – *нить*.

Безусловно, что такие принципы описания в какой-то мере объективны, так как лексический и словообразовательный уровни тесно связаны между собой и имеют определенные зоны взаимодействия. Но этот факт вряд ли является основанием для прямой выводимости словообразовательного из лексического (кстати, он не дает и основания для обратного выведения), так как данные области представляют собой специфически организованные подсистемы и существуют именно в силу того, что они имеют свое внутреннее устройство. Например, недоказуе-

¹ Уместно заметить, что эти годы в отечественной лингвистике определялись как «словообразовательный бум», суть которого можно определить тем обстоятельством, что словообразование оказалось удобным исследовательским полигоном для разработки структуралистских идей.

² Имеется в виду описание производного слова от основы («слева направо») и от форманта-суффикса («справа налево»).

мым в пределах лексической логики является приписывание значения уникальным элементам словообразовательной структуры, получившее выражение в так называемом способе семантического вычитания, поскольку остается неясным, почему выделенное остаточное значение принадлежит форманту (*стекл-ярус*), но не лексической единице как целостной структуре, не связанной с каким бы то ни было морфемным членением. Последовательным развитием логики семантического вычитания явился бы факт признания выводимости лексического значения слова из морфемной (словообразовательной) структуры слова – факт вряд ли бесспорный. Такие примеры свидетельствуют об относительной самостоятельности лексического и словообразовательного уровней. Словообразовательный уровень – уровень формы, представляет собой типизацию лексического материала относительно сложившихся в языке специализированных средств выражения словообразовательного значения. Отметим, что типизация лексики не является, строго говоря, целью словообразовательной системы, но представляет собой следствие деривационного функционирования слова, поэтому словообразовательная типология носит, по нашему мнению, генетико-системный статус (и в этом плане словообразовательная типология вряд ли является полной и универсальной типологией лексики): данная типология представляет собой продукт языкотворческой деятельности, для которой характерно обобщение генезиса, имеющего стандартные формы репрезентации, поэтому такая типология всегда неполна, вне ее поля зрения остается масса фактов, которые не укладываются в данную схему, например, из сферы словообразования (по «Русской грамматике») выключены такие мотивационные пары, как *Александр – Саша*, «*Жигули*» – «*Жигуль*» (см. об этом, например: [Голев Н.Д., 1989. С. 204–211]). В принципе такой факт понятен, он рождается из противоречия «система – функционирование». Сложившаяся система оказывается всегда «беднее» (именно в силу своей генетичности) реальных речевых фактов, она не в состоянии оформить в своих типовых формулах все разнообразие семантических, семантико-мотивационных отношений. На этом фоне оказывается вполне понятным факт определенной избирательности словообразовательной системы по отношению к выражаемому ее ресурсами содержанию¹.

¹ Отметим для аналогии: части речи призваны обслуживать типовые семантико-синтаксические позиции, но они (части речи) не в состоянии обслужить их бесконечное количество и разнообразие, поэтому частеречная определенность постоянно вступает в противоречие с семантико-синтаксическими функциями лексемы (*идти берегам*), но это, по нашему мнению, не дает основания для прямого выведения той или иной части речи из синтаксической позиции, в которую попала конкретная словоформа.

Подобные проблемы возникают и в функциональной плоскости, где вопрос о функционировании производного слова в связи с его словообразовательной формой остается, по существу, открытым. В рамках словообразовательной логики расчлененное функционирование мотиватов (функционирование с актуализацией их словообразовательной формы) остается в принципе недоказуемой.

Так, например, один из тезисов, обосновывающий функциональность словообразовательной структуры, связан с признанием ее изоморфности пропозициональной структуре высказывания [Колпакова Л.В., 2000. С. 190]. Но в рамках такого подхода остается неясным, что же актуализируется в речи – словообразовательная структура лексемы или ее собственно семантическое содержание. Это обусловлено прежде всего тем, что носителями внутренних пропозиций не обязательно являются именно словообразовательные структуры. В пропозициональном отношении эквивалентными оказываются, например, как производное *говорун* – «тот, кто много болтает», так и непроизводное *балабол* – «тот, кто много говорит», *два* также относится к *второй*, как *пятый* – к *пять*, непроизводные *гул* и *гам* – равно субстантивированные действия, как *шум*, *говор*, *болтовня*. И поэтому попытка увязать собственно семантические пропозиции именно со словообразованием представляется не слишком убедительной. Словообразовательная структура с ее привязкой к форме (форманту) относится к области поверхностных структур, а не глубинных, и связь их в лучшем случае вероятностная. Функционирование знака поглощает его тело, которое своей «телесной» формой генетически обязано словообразованию¹. Лексическое же бытие качественно преобразует все застывшие в форме генетические отношения, и новое, внутреннее, структурирование происходит на иной основе. Этот тезис не отрицает того, что какое-то влияние на него оказывает и наличие формальных структур, но это влияние периферийное, боковое, не актуально-смысловое, а суггестивно-фоновое, иногда в таком случае говорят – мерцательное. Об отсутствии органической (системно-детерминационной) связи форманта с деривационным функционированием готового производного слова ясно говорят факты бессистемной соотносительности формантов и смысловых типов актуализации: нет препятствий, чтобы в словах с одним формантом актуализировались разные смыслы, с одним смыслом были связаны разные форманты. В этой связи остается открытым вопрос о статусе словообразовательной

¹ Метафора по поводу генетической памяти словообразовательных структур красива, но никем по существу (если существом называть актуальное коммуникативное функционирование) не доказана.

структуры, и в частности форманта, в процессе выражения пропозициональных смыслов высказывания (можно ли в таком случае говорить, что именно *форманты* текстового слова *выражают* те или иные *смыслы*, которые возникают в определенном контексте?).

Слово функционирует по лексическим законам, принципиально не выводимым из словообразовательного значения (далее СЗ). Важнейшим функциональным свойством слова является его умение «закрываться» от воздействия на актуальное лексическое значение (далее ЛЗ) со стороны СЗ, иначе его постоянная актуализация будет мешать употреблению и восприятию смысла слова. В этом заключается сущность такого процесса, как демотивация, который и иллюстрирует названное «умение». В связи с этим идея об одноплановости ЛЗ и СЗ представляется вряд ли обоснованной: в любом случае происходит качественно-статусное преобразование СЗ, в ЛЗ – это уже не то СЗ, которое выводится из его формальной структуры в грамматиках, объявивших объектом словообразования мотивированное слово. В конкретном, живом слове их статус уже лексический (лексикализированный?). Словообразовательное значение в слове – это уже его (слова!) внутренняя форма, актуализация которой в речи – явление сложное и многоплановое, оно во многом зависит от языкового сознания, от его прагматических и целевых установок (см. [Бибихин В.В., 1978. С. 52–69]). Ср.: 1) *Грибов и ягод не знает, хоть и лесник*. 2) *Лесник заказал мороженое с ягодами*. Можно ли однозначно утверждать, что в первом случае, в отличие от второго, происходит актуализация СЗ? Если да, то тогда правомерен вопрос: что такое актуализация, каковы ее критерии? На наш взгляд, здесь актуализируется только сема «лес» как компонент ЛЗ, независимо от морфемной структуры, словообразовательного типа и не в связи с ними¹.

Можно пойти еще далее и высказать гипотезу о деривационном содержании такого функционирования слова. Но признак «деривационный» здесь не равен признаку «словообразовательный», так как деривационность в таких случаях не вытекает из словообразовательной системы ни синхронно, ни генетически, а формируется независимо от нее в силу деривационного функционирования слова, структурирующего его семантику по разным параметрам, в числе которых деривационный, отраженный ее (семантики) пропозициональной структурой. Очевидно,

¹ Это общие законы актуализации: в предложении «она осторожно рвет розу» актуализируется сема «шип», а в предложении «она нюхала розу» – не актуализируется. И форма (структура или мотивация) здесь не причем. Сема, связываемая с СЗ, также может актуализироваться, но она актуализируется уже не в статусе словообразовательной.

что в этом аспекте пропозициональный анализ универсален (применим ко всем словам, а не только словам с ярким СЗ). Иначе пропозиция в семантике производного слова существует не потому, что в слове есть формант, а потому, что есть пропозициональное (и, как следствие) деривационное функционирование семантики слова в тексте, где одно значение детерминирует другое. И именно такое функционирование детерминирует формальное выражение в языке (через речь) некоторых пропозиций (см.: [Очерки по лингвистической детерминалогии и дериватологии русского языка. С. 33–61; Сайкова Н.В., 2002]).

Положение об ограниченных функциональных возможностях словообразовательной структуры слова находит свое подтверждение и в речевой деятельности носителей русского языка. Этот факт проявляется в характере реакций, полученных нами в ходе ассоциативно-деривационного эксперимента¹. Обработка данных эксперимента позволила нам сделать вывод о том, что функционирование мотивационно связанных лексических единиц не является реконструкцией словообразовательной структуры слова, но оказывается подчиненным другим параметрам: коммуникативному заданию, синтаксическим, семантическим, прагматическим параметрам контекста, стимулирующим акты лексической деривации. В этой связи словообразовательная структура слова является не целью деривационного функционирования слова, связанного с актуализацией его внутренней формы, а своего рода условием, предпосылкой (суппозицией). Говорящий не преследует цели выяснить генезис мотивата, он лишь отталкивается от его внутренней формы, решая при этом сугубо коммуникативные задачи. Этот факт определяется тем, что выходы представляют собой, как правило, сцепки лексического характера (*смотритель* – *надсматривать*, *присматривать*, *подсматривать* и др.).

В экспериментальном материале обращает на себя внимание отсутствие актуализации отношений слов на оси «одноструктурности» (факты актуализации форманта). Факт совместной встречаемости одноструктурных лексем в эксперименте не является достаточным основанием для квалификации таких отношений как детерминационных, позволяющих говорить о функциональной «нагруженности» форманта.

¹ Схема такого эксперимента носит следующий характер: информантам предлагалось закончить фразу, которая представляла собой лексико-деривационный контекст – контекст, обладающий высокой энергетикой саморазвития и стимулирующий (включающий) акты лексической деривации. Например, в контексте *На то это и наблюдать, чтобы...* вероятность заполнения пробела дериватом *наблюдатель* очень высока. Подробнее см.: [Бринев К.И., 2002; Доронина Н.И., 1999; Очерки по лингвистической детерминалогии и дериватологии русского языка. С. 13–33].

Так, противопоставленность двух одноаффиксных лексем в контексте «*Что это за зритель, если он наблюдатель*» вряд ли дает основание для утверждения, что в данном случае они противопоставляются именно их внутренней структурой, а не целостным лексическим содержанием данных единиц¹.

Сказанное выше наводит на мысль о том, что назрела необходимость в иной, новой, постановке вопроса об отношении лексического и словообразовательного уровней, которая бы исходила из иных презумпций, признающих качественное в системном и функциональном аспектах различие названных подсистем, принципиальную несводимость их друг к другу и необходимость диалектического подхода при описании их взаимодействия. Рассмотрение их как равноправных членов оппозиции на начальном этапе, безусловно, потребует в дальнейшем описания принципов их взаимоотношений друг с другом, но без учета различного статуса членов этой оппозиции по отношению к таким языковым сферам, как система – функционирование, это вряд ли возможно. Следует подчеркнуть, что такой подход имеет и более общий контекст, связанный с природой взаимодействия всех уровней языка. Возможность описания одного (скажем, более низкого) через другой (более высокий) или наоборот всегда имеет определенные ограничения. Для функциональных описаний, например, характерна некоторая абсолютизация свойств единиц вышестоящего уровня и прямой перенос их на нижестоящие (например, свойств и отношений морфем на принципы отождествления фонем, синтаксических свойств словоформ как членов предложения на слова как носители собственно морфологических свойств), в этом ряду находится и морфемно-словообразовательное описание лексических единиц, опирающееся на их лексическую системность и лексическое функционирование. Разумеется, и обратное толкование свойств «высших» единиц через низшие имеет серьезные ограничения в своих объяснительных возможностях и далеко не всегда достигает степени сущностного описания.

ЛИТЕРАТУРА

Бибихин В.В. Принцип внутренней формы и редукционизм в семантических исследованиях // Языковая практика и теория языка. М., 1978. С. 52 – 69.

¹ Пожалуй, наиболее бесспорным примером одноструктурного взаимодействия является лишь одна реакция, представленная в следующем контексте: «*На старом месте его звали «наблюдатель». Ну так что ж, это потому, что на новом он был преследователем*». Этот пример свидетельствует о вероятностно-статистической связи словообразовательной структуры слова с его лексической структурой (см. также: [Очерки по лингвистической детерминации... С. 61–84]).

Бринев К.И. Внутренняя форма русского слова как носитель потенциала его деривационного функционирования: Дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2002.

Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 419 – 443.

Доронина Н.И. Условия реализации деривационного потенциала слов русского языка (на материале деривационно-ассоциативного эксперимента): Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1999.

Голев Н.Д. Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1989.

Колпакова Л.В. Функционирование производных имен номинальных классов в тексте: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2000. 190 с.

Очерки по лингвистической детерминации и дериватологии русского языка. Барнаул, 1998.

Сайкова Н.В. Взаимодействие слова и текста в деривационном аспекте (на материале вторичных текстов разных типов): Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2002.

Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979. 242 с.

Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории русского словообразования (аспект взаимодействия словообразования с лексикой): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Днепропетровск, 1983.

М.Г. Шкуропацкая
ДЕРИВАЦИОННОЕ СЛОВО
И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО
(К ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ)

Современный подход к описанию лексики исходит из того, что перед нами система систем различной степени сложности. Если всю лексику языка условно можно представить как некую макросистему, то самым минимальным системным образованием в ее пределах является, безусловно, слово. Обладая потенциалом фонетического, морфологического, лексического, стилистического, синтаксического функционирования, слово является объектом отдельных лингвистических дисциплин. Соответственно этому выделяются понятия «фонетическое слово», «морфологическое слово», «лексическое слово» (лексема), «синтаксическое слово» (синтаксема). Мы полагаем, что наряду с данными аспектами возможно выделение **деривационного слова (ДС)**, изучение которого составляет предмет деривационной лексикологии. Его специфика определяется особым (деривационным) функционированием слова в тексте и особой (эпидигматической) системностью лексики на уровне словаря. ДС объединяет под своей эгидой всю совокупность производных слов, образованных на базе данного слова, и обладает статусом одной из многочисленных микросистем лексики в ее деривационном измерении.

Понятие ДС в определенном отношении соотносится с понятием словообразовательного гнезда, под которым в дериватологии понимается упорядоченная отношениями производности совокупность слов, характеризующихся общностью корня. Наличие двух соотносящихся структурных единиц ставит вопрос об основаниях для их дифференциации. Описание этих оснований является задачей данной статьи.

Большой вклад в решение данного вопроса внесла М.Н. Янценецкая. В работах, посвященных проблеме лексических и словообразовательных мотивационных связей, М.Н. Янценецкая рассматривает сопоставительное описание лексических и словообразовательных гнезд в качестве одной из важнейших задач современного словообразования [Янценецкая М.Н., 1979; 1984]. Поэтому мы считаем необходимым подчеркнуть,

что многие положения данной статьи появились под влиянием работ М.Н. Яценецкой.

Мы полагаем, что отношения эпидигматов в рамках деривационного слова строятся на принципиально иных основаниях, чем отношения между производящими и производными словами в рамках словообразовательного гнезда слов – одного из проявлений микросистем словообразовательного уровня. В отличие от диахронно-генетической модели, которую олицетворяет словообразовательное гнездо слов, деривационное слово представляет собой синхронно-функциональную модель, «члены» которой способны к деривационному взаимодействию в пределах одного семантико-синтаксического контекста. В нем слова являются естественным деривационным источником или продолжением друг друга. Такое взаимодействие осуществляется в пределах тождественной семантической спецификации, например, *говорить, так договаривать; а не договаривать, так и не говорить; говори, да не проговаривайся (да не заговаривайся); говорить не устать, было бы что сказать; сколько не говори, а с разговором сытым не будешь; сколько не толковать, а всего не перетолковать; Хорошую речь хорошо и слушать; учился читать да писать, а выучился петь да плясать; ум да умец, да третий дубец; ткали рогожку, доткались и до красен (полотна); гибали мы вязовую (дугу), согнем и ветловую; учена учить, только портить; не учи борючись, учи побораючи; у вора воровать – только время терять; от умного научишься, от глупого разучишься; недоученный хуже неученого; дело сделал, как пить дал; нырять он умеет, только выныривать не умеет* [Пословицы и поговорки русского народа. 1987]. Выделенные слова, находящиеся в отношениях обусловленности всякого последующего эпидигмата предыдущим текстовым элементом, создают базу для моделирования системы эпидигматически связанных слов на синхронных основаниях. Таким образом, в отличие от словообразовательного гнезда, ДС – это синхронно-функциональная модель организации слов, находящихся в отношениях эпидигматической детерминации.

Эпидигматическое функционирование слова в тексте осуществляется с опорой на его семантику. Это второе отличие. Деривационное варьирование слова осуществляется на уровне отдельных значений слов (ЛСВ), и все деривационные варианты, образованные от того или иного ЛСВ (спецификации), объединены в рамках деривационного слова тождеством специфицированного значения. Поэтому всякое появление нового лексического качества в каком-либо компоненте (деривационном варианте) деривационного слова приводит к нарушению тождества сло-

ва и образованию нового деривационного слова (деривационного микрогнезда слов, объединенных тождеством нового "качества").

Далее, в отличие от отношений словообразовательной производности, эпидигматические отношения между компонентами ДС могут быть выражены как морфологическим способом, так и лексическими средствами (супплетивными образованиями, семантическими дериватами). Например, деривационное значение "мясо животного" в различных ДС выражается по-разному: суффиксальным способом (*баранина, бычати-на, верблюжати-на, зайчати-на, козлятина, конина, крольчати-на, лосина* и *лосятина, медвежати-на, оленина* и *оленина, поросяти-на, свинина, телятина, тюленина, кошати-на, псина, собачати-на*); супплетивами (*говядина*); семантическими дериватами (*заяц, кролик, поросенок*) [Русский семантический словарь, 2000. С. 265–266].

Кроме того, в деривационном слове между его составляющими принципиально возможна асимметрия между планом содержания и планом выражения. В эпидигматические отношения вступают слова одной словообразовательной цепочки, опосредованные другими словами; слова разных словообразовательных цепочек; слова, у которых направление лексической мотивации противоположно направлению их словообразовательной мотивации. Знаковые отличия эпидигматических отношений от словообразовательных обусловлены самой их спецификой, опирающейся на денотативное содержание слов и в известном смысле пренебрегающей сигнификативной характеристикой, исходящей из их формальных отношений.

Охарактеризуем данное отличие более подробно.

Порядок размещения слов, принятый в Словообразовательном словаре русского языка (ССРЯ) [Тихонов А.Н., 1985], носит главным образом формальный характер. Такой порядок "исходит из ступенчатого характера русского словообразования", заключающегося в том, что "в процессе словообразования аффиксы присоединяются к непрямой основе-корню в строгой последовательности" [Тихонов А.Н., 1985. С. 10]. Из определения словообразовательной мотивации вытекает, что мотивированное слово – более сложная единица, чем мотивирующая, при этом "большая сложность мотивированного слова по сравнению с мотивирующим должна проявляться как в формальной, так и в семантической структуре" [Гейгер Р.М., 1986. С. 21]. В отличие от словообразовательного гнезда, ДС создается за счет лексических связей семантического включения на основе отношений лексической мотивации. При лексической мотивации большая простота (или сложность) того или иного означаемого устанавливается безо всякой оглядки на соответствующие означающие. Это приводит к тому, что формальная сложность

может расходиться со смысловой (*лиса* – *лисица*; *правдолюб* – *правдолюбец* означают одно и то же) или даже противоречить ей (*радовать* – 'заставлять *радоваться*').

В науке описаны пять типов связей между означающими словесных знаков при постоянстве отношения включения между их означаемыми [Мельчук И.А. 1968]. Это следующие отношения: совпадение форм, вложение, пересечение или наличие общей части, отсутствие общей части, "обратное, или разнонаправленное словообразование" (по терминологии И.А. Мельчука), когда одна единица по форме включается в другую, а по смыслу, наоборот, включает ее ($\Phi(A) \subset \Phi(B)$, $C(A) \supset C(B)$). Данные типы формальных соотношений и их содержательная интерпретация представлены в таблице¹.

Типы формальной соотносительности слов с семантическими отношениями включения и их содержательная интерпретация

С Ф включе- ние	Тождество	Включение	Пересечение	$\Phi(A) \subset \Phi(B)$; $C(A) \supset C(B)$	Не имеет ничего общего
Содержательная интерпретация	Особые случаи полисемии (регулярная метонимия)	Словообразование (с полной членимостью основы)	Словообразование (с остаточной членимостью)	Обратное, или разнонаправленное словообразование	Супплетивное словообразование
Примеры	<i>Слива</i> (плод) – <i>слива</i> (дерево)	<i>Платок</i> – <i>платочек</i> ; <i>писать</i> – <i>писатель</i>	<i>Оппонировать</i> – <i>оппонент</i> ; <i>привыкать</i> – <i>отвыкать</i>	<i>Радовать</i> – <i>радоваться</i> ; <i>бродяжить</i> – <i>бродяга</i> ; <i>лингвистика</i> – <i>лингвист</i>	<i>Шить</i> – <i>портной</i> ; <i>преступление</i> – <i>криминалистика</i>

Из многообразия типов формально-семантических отношений, возможных между эпидигматически связанными словами, только отношения включения и отчасти пересечения совпадают с порядком размещения производных слов в словообразовательных гнездах [Тихонов А.Н., 1985]. В остальных случаях этот порядок не совпадает.

С целью выявления различий в направлении детерминационных отношений слов в эпидигматических и словообразовательных парах слов мы сопоставили данные двух словарей: ССРЯ и Мотивационного диа-

¹ Примеры для таблицы взяты из статьи И.А. Мельчука (1968).

лектного словаря (МДС). Последний выбран нами в качестве лексикографического источника, в котором зафиксированы эпидигматические отношения слов, представленные в синхронно-функциональном аспекте. Данные отношения в опредмеченной форме выражают большое разнообразие мотивационных связей между словами, обнаруживающееся в речи.

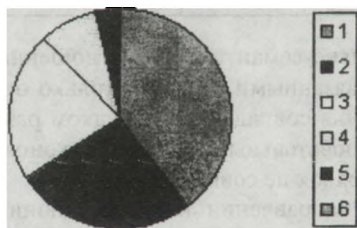
Из некоторой части МДС (страницы указаны) путем сплошной выборки были отобраны заглавные слова, которые вошли в состав 457 мотивационных пар (ЛДР) [Мотивационный диалектный словарь... 1982. С. 25–56; 100–115; 192–210]. Далее мотивационные пары были сопоставлены со словообразовательными парами, в составе которых заглавное слово статьи МДС выполняет функцию производного слова. В результате были выявлены следующие группы эпидигматически связанных слов по их соотношению со словообразовательными парами:

1) слова, у которых отношения лексической и словообразовательной мотивации совпали: *аржаной – аржанец; рожь – аржаной* ("ржаной"); *баба – бабушка; багор – багрить; байка – байкать; бай-бай – байкать* ("баюкать"); *бакан ("бакен") – баканщик; баловать ("шалить, играть") – балованный; баловать ("нежить, потворствовать") – балованный; баран – баранина* и т.п. – составили 178 пар (39% от общего состава слов);

2) производные слова, находящиеся в отношениях совместной словообразовательной производности (кодеривации): *(баба)¹ бабка – бабушка; (баловать) баловаться – балованный; (баран) бараний – баранина; (бархат) бархатный – бархатник; (батрак) батрачить – батрачка; (бедный) бедно – бедняк; (бедный) бедность – бедняк; (белый) беленький – белить ("отбеливать")* и т.п. – всего 116 пар (25,4%);

3) производные слова, относящиеся к разным словообразовательным цепочкам и соотносящиеся с разными производящими: *(баловать –*

сы) избаловаться – (баловать) балованный; (бег) беговой – (бегать) бегун; (бежать) прибежать – (бегать) бегун; (бег) беговой – (бегун) бегунец; (побелить) побелка – (белить "производить побелку") белилка; (подбелить) подбеливать – (белить) белилка; (бок) сбоку – (боковой) боковушка; (боль) больной – (бо-



¹ Здесь и далее в скобках дается производящее слово для второго члена мотивационной пары, зарегистрированное в Русском семантическом словаре.

леть) *болезнь*; (болтать) *болтливый* – (болтун) *болтушка* и т.п. – всего 109 пар (21,9%);

4) производные слова, находящиеся в отношениях опосредованной словообразовательной мотивации: *аккуратный* (*аккуратист*) *аккуратистка*; *Америка* (*американский*) *американка*; *рожь* (*ржаной*) *ржанец*; *бегать* (*бегун*) *бегунец*; *берег* (*береговой* I) *береговой* II "рыбак"; *болтать* (*болтун*) *болтушка* и т.п. – всего 38 пар (8,3%);

5) слова, относящиеся к разным словообразовательным гнездам: (*отбелить*) *отбеленный* – *белье*; *вертеть* – *веретено*; (*вертеть*) *вертеться* – *веретено*; *девушка* – (*девица*) *девичник*; *девка* – (*девица*) *девичник*; *дрова* – *дровни*; *дуб* – *дубить*; *мать* – (*мама*) *мамаша* – всего 14 пар (3,1%);

6) производные слова, находящиеся в отношениях, обратных словообразовательным: (*белить*) *белила* – *белить*; (*бот* "то, чем ботают") *ботать* – *бот* – всего 2 пары (0,4%). Процентное соотношение слов, входящих в состав выделенных групп, представлено на диаграмме.

Различия отношений слов, выявленные в эпидигматических и словообразовательных парах, связаны прежде всего с тем, что лексическая эпидигматика имеет денотативную основу, в то время как словообразовательные отношения опираются на принцип формального моделирования [Янценецкая М.Н., 1984. С. 5]. Прокомментируем сказанное на материале выделенных групп слов.

Опосредованные отношения. Признак денотативной обусловленности лежит в основе различий между словообразовательными и лексическими дериватами, связанных с непосредственной и опосредованной мотивацией. Под непосредственной мотивацией понимаются мотивационные отношения двух слов, одно из которых отличается от другого только одним формантом; под опосредствованной (или чересступенчатой) мотивацией – мотивационные отношения двух слов, одно из которых отличается более чем одним формантом. Словообразовательной мотивацией в строгом смысле признаются отношения именно непосредственной мотивации, которые проявляются в словообразовательной паре. Однако наличие в словообразовательной цепи общих для всех звеньев лексических значений создает благоприятную почву для установления между ними непосредственных контактов. А это, в свою очередь, ведет к образованию слов с пропуском любого количества словообразовательных звеньев. В словообразовании эти процессы управляются законами аналогии [Мотивационный диалектный словарь.... 1982. С. 34–42]. Они получили распространение в терминологической сфере и прежде всего затрагивают ряд ИМЯ – ГЛАГОЛ – ИМЯ, из которого выпадает среднее звено, оставляя глагольные следы в семантике производно-

го слова: *дифтонг* – *дифтонгизация*, *снег* – *снегование*, *букет* – *букетировка* и под. (см. об этом: [Тихонов А.Н., 1985.С. 46-47]).

В сфере лексической деривации опосредствованные отношения словообразовательного гнезда рассматриваются как отношения непосредственного семантического включения. Лексическая деривация, опирающаяся на денотативную основу значения слова, может не реагировать на изменения в значении, носящие грамматический или стилистический характер. Поэтому при лексической деривации легко пропускаются такие промежуточные звенья словообразовательных ступеней, как синтаксические дериваты и слова с модификационной семантикой (грамматической или стилистической). Опосредованные отношения в сфере лексической деривации представлены следующими вариантами:

1) пропуск существительного со значением "лица" в рядах:

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ)¹ – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("признак" – ("лицо по признаку") – "лицо женского пола по признаку"): *аккуратный* – (*аккуратист*) – *аккуратистка*; *молодой* I – (*молодые* II) – *молодуха*;

ГЛАГОЛ – (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("действие/деятельность" – ("лицо по действию") – "лицо женского пола по действию"): *доить* – (*дояр*) – *доярка*; *болтать* – (*болтун*) – *болтушка*;

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("предмет" – ("лицо по предмету") – "лицо женского пола по предмету"): *молоко* – (*молоканный*, *молоканичик*) – *молоканищица*;

2) пропуск синтаксического деривата в рядах:

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("предмет" – ("имеющий отношение к предмету") – "предмет по предмету"): *Америка* – (*американский*) – *американка* ("сорт картофеля"); *рожь* – (*ржаной*) – *аржанец*; *рожь* – (*ржаной*) – *аржанище*; *берег* – (*береговой* I) – *береговой* II ("рыбак"); *боль* – (*больной* I, *больной* II) – *больница*; *бор* – (*боровой*) – *боровики*; *дно* – (*донный*) – *донка*; *дрова* – (*дровяной*) – *дровяник*;

ГЛАГОЛ – (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("действие" – ("имеющий отношение к действию") – "предмет по действию"): *бросить* (*брошенный*) – *брошенка*; *варить* – (*вареный*) – *варенец*; *варить* – (*вареный*) – *вареники*; *долбить* (*долбленный*) – *долбленка*; *драть* – (*дранный*) – *драники*;

ГЛАГОЛ – (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ("действие" – ("опредмеченное действие") – "лицо по действию"): *драться* – (*драка*) – *драчун*;

¹ Здесь и далее по тексту в скобках обозначено слово определенной части речи, выполняющее в словообразовательной паре функцию производящего слова.

3) пропуск компонента в паре с модификационным отношением:

ГЛАГОЛ – (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ:

мести – (метель) – метелица; мести – (метла) – метелка;

другие варианты: брат – (братан) – братанник.

Обратные отношения. Функциональный характер лексической деривации обуславливает такое свойство, отличающее ее от генетического словообразования, как возможность появления эпидигматических связей, обратных словообразовательным. Это связано с тем, что между словами, обозначающими предметы и их непредметные свойства (действия и признаки), могут устанавливаться взаимонаправленные отношения. В этом проявляется диалектическое единство предметов и их свойств. Отношения взаимонаправленности были выявлены М.Н. Янценецкой между категориями "действие" – "субъект" (*стрелять – стрелок; слесарь – слесарить; лечить – врач*), "действие" – "объект" (*накидывать – накидка; обед – обедать; читать – книга*), "действие" – "орудие" (*покрывать – покрывало, мотыга – мотыжить; копать – лопата;*), "действие" – "результат" (*жечь – жженка; борозда – бороздить; копать – яма*); "действие" – "место" (*поселяться – поселок; бункер – бункеровать; торговать – базар*); "состояние" – "чувство" (*радоваться – радость; отчаиваться – отчаяние; бояться страх*); "предмет" – "признак" (*лимон – лимонный; рыжий – рыжик; лимонный – желтый*); "предмет" – "место" (*теленка – телятник; детдом – детдомовец; пчела – улей*) (см.: [Янценецкая М.Н., 1984. С. 8–9]). Каждое из направлений словообразовательно отмечено, за каждым из них закреплён определенный принцип номинации (правило, позволяющее из разнообразных отношений называемого явления вычленить определенный круг связей, который может быть использован в процессе номинации). Словообразовательная закреплённость подтверждает объективность таких связей на лексическом уровне как между словами, связанными формально-семантическими отношениями, но без учета их реальной словообразовательной структуры, так и между супплетивами.

В материалах МДС, проанализированных нами, обнаружили два случая эпидигматических отношений, имеющих направленность, обратную словообразовательной: *белила – белить* ("материал" – "действие") и *ботать – бот* ("то, чем ботают") ("действие" – "инструмент").

Лексические мотивационные связи, обратные словообразовательным, возникают также между синтаксическими дериватами и их производящими (*лес ↔ лесной; храбрый ↔ храбрость; двигаться ↔ движение*). Отношения взаимообусловленности здесь появляются благодаря уже отмеченному свойству денотативного тождества признаков, процессуальных и предметных значений.

Текстовая деривация лексических единиц также легко преодолевает устойчивый характер формально-семантических связей между эпидигматами, принятыми в системе словообразования. Например, направление *заслуг – заслуженных* в другом тексте легко и естественно меняется на противоположные: *Я слышал, что он человек заслуженный, однако я его заслуг не знаю* [Улуханов И.С., 2001. С. 133].

Отмеченные два свойства (возможность представление опосредованных словообразовательных отношений как непосредственных и обратной направленности этих отношений) могут совмещаться. Данный тип лексических мотивационных связей возникает при образовании производных единиц по замкнутому кругу, когда первое и последнее звено словообразовательной цепи создаются за счет слов одной части речи (*заглубелый* → *глубеть* "становиться заглубелым") (пример М.Н. Янценецкой).

Эпидигматические отношения, возникающие между членами разных словообразовательных цепочек (кодериватами). Денотативное тождество синтаксических и модификационных дериватов может приводить к появлению эпидигматических отношений между словами разных словообразовательных цепочек, там, где эти единицы не могут быть связаны отношениями словообразовательной мотивации. В материалах МДС данные отношения представлены следующими вариантами:

1) (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: (*баран*) *бараний* – *баранина*; (*бархат*) *бархатный* – *бархатник*; (*бархат*) *бархатистый* – *бархатник*; (*береза*) *березовый* – *березник* ("стройматериал"); (*береза*) *березовый* – *березовик*; (*вдова*) *вдовой* – *вдовуха*; (*драка*) *драчливый* – *драчун*; (*мода*) *модное* – *модистка*;

2) (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) – НАРЕЧИЕ – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: (*бедный*) *бедно* – *бедняк*; (*белый*) *бело* – *белить*; (*быстрый*) *быстро* – *быстрина*; (*быстрый*) *быстро* – *быстрота*; (*мелкий*) *мелко* – *мель*;

3) (ГЛАГОЛ) – ГЛАГОЛ ВОЗВРАТНЫЙ – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ / ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: (*баловать*) *баловать* – *баловник*; (*варить*) *вариться* – *варево*; (*мазать*) *мазаться* – *мазь*; (*молотить*) *молотиться* – *молотилка*; (*молотить*) *молотиться* – *молотяга*; (*бодать*) *бодаться* – *бодливый*; (*венчать*) – *венчаться* – *венчальный*;

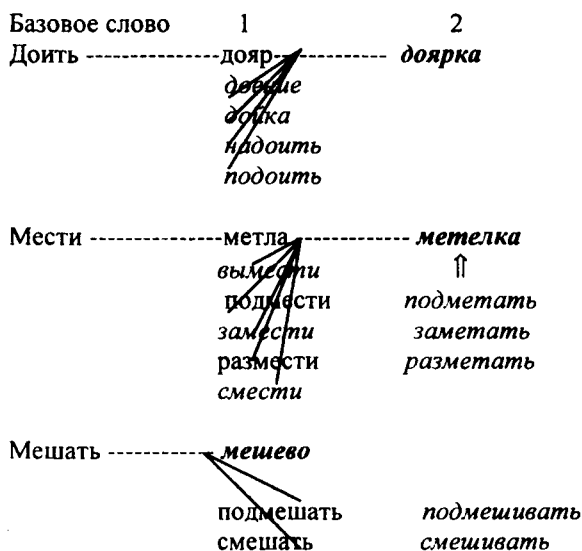
4) (ГЛАГОЛ) – ГЛАГОЛ ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ / ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: (*болеть*) *заболеть* – *болезнь*; (*болтать*) *наболтать* – *болтун*; (*бродить*) *забродить* – *бродник*; (*валить*) *повалить* – *валежина*; (*варить*) *сварить* – *варенье*; (*бодать*) *забодать* – *бодливый*; (*дохнуть*) *задохнуть* – *дохлый*;

5) (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) – СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МОДИФИКАЦИОННОЕ – ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ / СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: (береза) березка – березовый; (болото) болотце – болотный; (дождь) дождик – дождливый; (мама) мамка – мамин; (мед) медок – медунка;

6) другие варианты: (бедный) бедность – бедняк; (богатый) богатство – богач; (бить) бой – боек; (боль) болеть – больной; (двое) двоить – двойник ("полено"); (дым) дымить – дымарь; (медведь) медведица – медвежонок; (молодой) молодость – молодежь.

Чуть меньше в процентном отношении (21,9 к 25,4) составляют такие слова, связанные эпидигматическими отношениями, которые относятся к разным словообразовательным цепочкам и находятся на разных ступенях словообразования. Например:

Ступени словообразования (1, 2 >>)



Здесь полужирным шрифтом обозначен лексический мотиват; курсивом – лексические мотиваторы, сплошными линиями – эпидигматические отношения; пунктирными линиями – отношения словообразовательной производности.

Как видно из примеров, слова, выполняющие функцию производящих в эпидигматических и словообразовательных парах, между собой находятся в отношениях: 1) синтаксической деривации: *доить* – *доение*;

дойка; 2) модификационных – на расстоянии одного деривационного шага (способы глагольного действия, выраженные префиксами): *дойть – надойть; подоить; мести – вымести; замести; смести*; 3) модификационных на расстоянии нескольких деривационных шагов (способы глагольного действия, выраженные префиксами, и значение "имперфекта", выраженное суффиксальным способом): *мести – подметать; замечать; разметать; мешать – подмешивать; смешивать*.

Образование деривационного слова на основе ремотивации. Непрерывный деривационно-мотивационный процесс, в рамках которого осуществляется деривационно-мотивационное функционирование слова (Н.Д. Голев), притягивает к себе разнонаправленные процессы. Прогрессивное направление связано с актуализацией морфемно-мотивационного плана слова и приводит к возникновению новых элементов в мотиве. Импульсом для синхронного деривационно-мотивационного функционирования мотива в данном случае является ремотивация, которая в рамках деривационной лексикологии определяется как процесс создания вторичных внутренних форм слова [Мельчук И.А., 1968]. Мотивация создается как качественно новое явление. Говорящий исходит из готового мотива и использует известные ему единицы и модели для вторичной мотивации (которая нередко совпадает с первичной). Возникающие при этом ЛДР направлены на реализацию особой речевой стратегии, связанной с выражением субъективного, экспрессивного смысла высказывания. Оказиональная актуализация внутренней формы лексикализованного слова является своего рода реакцией на спецификацию. В рассмотренном нами материале МДС нам встретилось несколько случаев создания вторичной мотивировки слова, связанной с его ремотивацией, например: *Все нижнее белье из холстов было, да таки белы, отбелены* [Тихонов А.Н., 1985. С. 32]; *Ногой зыбку качаешь и в руках веретешку вертишь // Кто на веретешках [прядет], а я, старая, вертануть не умею // Веретешкой навертываешь* [Тихонов А.Н., 1985. С. 56].

Имея направленность, противоположную лексикализации, ремотивационные процессы воссоздают деривационный потенциал слова и приводят к изменению его системных эпидигматических связей.

Деривационное слово по некоторым признакам может коррелировать с понятием «лексическое гнездо слов», выделенным в науке М.Н. Янценовской [Янценовская М.Н., 1984; 1982] и позднее А.Н. Тихоновым [Тихонов А.М., 1994]. Вместе с тем есть и отличительные признаки. ДС, в отличие от лексического и словообразовательного гнезда слов, опирается на понятие "тождества спецификации"; кроме того, в рамках ДС по принципу дополнительности могут сосуществовать словообразовательные и супплетивные дериваты (в некоторых случаях семантические дериваты); иногда они могут находиться в отношениях дополнительного распределения.

ЛИТЕРАТУРА

- Гейгер Р.М.* Проблемы анализа словообразовательной структуры и семантики в синхронии и диахронии. Омск, 1986.
- Голев Н.Д.* Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1989.
- Мельчук И.А.* Строение языковых знаков и возможности формально-семантических отношений между ними // Изв. АН. Сер. Лингв. 1968. №5.
- Мотивационный диалектный словарь (говоры Среднего Приобья). Т. 1. Томск, 1982.
- Пословицы и поговорки русского народа. Из сборника В.И. Даля / Под общ. ред. Б.П. Кирдана. М., 1987.
- Русский семантический словарь. Т. 12. М., 2000.
- Тихонов А.М.* Лексические и словообразовательные гнезда в современном русском языке // Вопросы слово- и формообразования в индоевропейских языках: Семантика и функционирование. Ч. 1. Томск, 1994.
- Тихонов А.Н.* Словообразовательный словарь русского языка. М., 1985.
- Улуханов И.С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 2001.
- Янценецкая М.Н.* Мотивационные отношения в лексике и лексическое гнездо // Семантическая структура слова. Кемерово, 1984.
- Янценецкая М.Н.* Об организации лексического гнезда // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
- Янценецкая М.Н.* Семантические вопросы теории словообразования. Томск, 1979.

НАШИ АВТОРЫ

Блинова Ольга Иосифовна — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного университета

Бринев Константин Иванович — старший преподаватель кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Барнаульского государственного педагогического университета

Голев Николай Данилович — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета Алтайского государственного университета. E-mail: golev@alt.ru

Дронова Любовь Петровна — кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Иваницкая Марина Викторовна — соискатель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Катунин Дмитрий Анатольевич — старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Королева Юлия Вадимовна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Макушкина Софья Юрьевна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Маругина Надежда Ивановна — аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Мишанкина Наталья Александровна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных проблем информатики философского факультета Томского государственного университета. E-mail: mishankina@ido.tsu.ru

Новокшопова Наталья Лукьяновна — соискатель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

Оглезнева Елена Александровна — кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка и литературы гуманитарного факультета Амурского государственного университета. E-mail: eoglezneva@yandex.ru

Порядина Рита Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: poryadina2001@mail.ru

Резанова Зоя Ивановна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: resso@rambler.ru

Тубалова Инна Витальевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: tubalova@ido.tsu.ru

-- **Шишкина Татьяна Альбертовна** – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Новосибирского государственного педагогического университета

-- **Шкуропацкая Марина Геннадьевна** – кандидат филологических наук, доцент Бийского государственного педагогического университета, докторант кафедры русского языка филологического факультета Алтайского государственного университета

Эмер Юлия Антоновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета. E-mail: lee@lec.tsk.ru

Янушкевич Мария Александровна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие.....	3
<i>Раздел 1. ЯЗЫК КАК МИРОМОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА</i>	7
Дронова Л.П. Концептуальный анализ в диахронических исследованиях.....	8
Порядина Р.Н. О семантической категории желательности.....	19
Королева Ю.В. Русский глагол как способ языкового моделирования полиситуативной действительности.....	31
Катунин Д.А. Время и человек в метафорическом фрагменте русской языковой картины мира: субъектно-объектные отношения.....	43
Новокшионова Н.Л. Метафоры света и огня в интерпретации жизни.....	59
Шишкина Т.А. Концептуальное поле «форма» в русских диалектах.....	69
Эмер Ю.А. Миромоделирование в языке фольклора.....	82
<i>Раздел 2. ТЕКСТ КАК МИРОМОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА</i>	91
Резанова З.И., Иваницкая М. В. Метафора в рекламном дискурсе (на материале товарной телевизионной рекламы).....	92
Мишанкина Н.А. Метафорическое моделирование саундшафта романа М.А. Булгакова «Белая гвардия».....	106
Маругина Н.И. Ключевая текстовая метафора - механизм моделирования авторской картины мира: к проблеме перевода (на материале повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и ее переводов на английский язык.....	117
Макушкина С.Ю. Миромоделирующие функции категорий «нравственный выбор» и «судьба» в «Малой Илиаде» В.А. Жуковского.....	125
Янушкевич М. А. Мотив метаморфозы как основа художественного миромоделирования в «романной трилогии» В.О. Пелевина (к проблеме античной традиции в постмодернистском романе).....	137
Тубалова И.В. Фольклорный таксис как эстетическая категория.....	151
Оглезнева Е.А. В мире человеческих антиномий (на материале диалектных высказываний с ключевыми словами «раньше» и «сейчас»).....	161
<i>Раздел 3. IN MEMORIA. ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА МАИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ЯНЦЕНЕЦКОЙ</i>	171
Маина Николаевна Янценецкая. Фрагменты научной биографии.....	172
Блинова О.И. Ремотивация (к словарю терминов мотивологии).....	177

Голев Н.Д., Бринев К.И. О соотношении лексического и словообразовательного аспектов при описании мотивированных слов в системе и тексте.....	184
Шкуропацкая М.Г. Деривационное слово и словообразовательное гнездо (к проблеме дифференциации).....	192
Наши авторы.....	204

Научное издание

МИРОМОДЕЛИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ

Редактор В.Г. Лихачева
Технический редактор Р.М. Подгорбунская
Компьютерная верстка Г.П. Орлова

Лицензия ИД 04617 от 24.04.01 г. Подписано в печать 10.11.2003.
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная №1.
Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печ. л. 13; усл. печ. л. 12,09; уч.-изд. л. 13,48. Тираж 500 экз.
Заказ № 517

ФГУП «Издательство ТГУ», 634029, Томск, ул. Никитина, 4

1-961290

Томский госуниверситет 1878



Научная библиотека 00607029

ORBIS TERRARVM DESCRIPTIO DUOB

